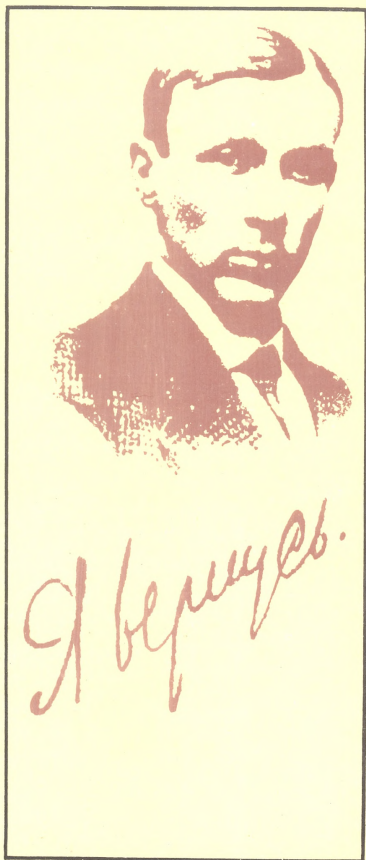


Ю.Г.Виленский, В.В.Навроцкий, Г.А.Шалюгин

МИХАИЛ БУЛГАКОВ И КРЫМ



Ю. Г. ВИЛЕНСКИЙ, В. В. НАВРОЦКИЙ,
Г. А. ШАЛЮГИН

***МИХАИЛ БУЛГАКОВ
И КРЫМ***

Симферополь
«Таврия»
1995

ББК 833 (4 Укр — 6 Крм) л 6
В 442

Виленский Ю. Г., Навроцкий В. В., Шалюгин Г. А.
В 442 Михаил Булгаков и Крым — Симферополь: «Таврия»,
1995 — 144 с.:ил.
ISBN 5-7780-0566-0

Книга впервые знакомит читателя с крымскими путешествиями М. А. Булгакова, освещает круг его крымских знакомств и отражение крымской темы в творчестве выдающегося русского писателя. Особый интерес представляет материал о встречах М. А. Булгакова с М. А. Волошиным, о возможном влиянии поэта на идейно-философский аспект пьесы «Бег», о крымской географии и прообразах этого драматического произведения.

В 4603010000 — Без объявл.
М 216 (04) -95

ISBN 5-7780-0566-0

© Виленский Ю. Г., 1995
© Навроцкий В. В., 1995
© Шалюгин Г. А., 1995
© Издательство «Таврия», 1995

К ЧИТАТЕЛЮ

Крым... О нем мечтал в своем родном городе Киеве юный гимназист Михаил Булгаков. На уроках географии, за чтением Фенимора Купера, Жюль Верна, Александра Дюма ему грезились дальние страны и южное море. Морская романтика так влекла будущего писателя, что после окончания Киевского университета, получив «диплом лекаря с отличием», Булгаков чуть не стал военным моряком.

Позже, открыв для себя Крым, писатель был навсегда заворочен этим краем, а его произведения наполнились таврическими сюжетами. Крым очень много дал Булгакову — несмотря на кратковременность его посещений черноморского полуострова.

Прежде всего, это — «чеховское приращение», глубокое духовное, нравственное родство двух писателей-врачей. Уединенная ялтинская дача Чехова и ее обитатели, думается, успокаивали и утешали Булгакова. В Таврическом калейдоскопе — и коктебельское лето, давшее писателю передышку в трудные дни, сердечная теплота волошинского Дома поэта, и спендиаровское окружение в Судаче. Это, наконец, незабываемые впечатления легендарного Севастополя и величественной царской Ливадии.

Авторы настоящей книги впервые предлагают глубокое прочтение и расшифровку крымских страниц жизни и творчества Михаила Булгакова. Киевлянину Юрию Виленскому (кандидату медицинских наук и автору книги «Доктор Булгаков») принадлежит идея данного труда. Крымский краевед Владимир Навроцкий (по профессии — климатолог, доктор медицинских наук) нашел прообразы многих персонажей и мест действия булгаковских произведений (особенно интересны его

находки относительно «Бега»). Директор Ялтинского дома-музея А. П. Чехова Геннадий Шалюгин, кандидат филологических наук, авторитетный чеховед,— последнее время плодотворно работает над булгаковской темой, ее крымскими реалиями.

С большим интересом прочитав книгу еще в рукописи, я приглашаю всех, кто интересуется творчеством Булгакова, совершить увлекательное путешествие по крымским жизненным и творческим путям великого Мастера.

АНАТОЛИЙ КОПЧАКОВСКИЙ,
директор Литературно-мемориального
музея М. А. Булгакова, г. Киев

ВСТУПЛЕНИЕ

«Я вернусь...» — эти слова, написанные рукой Михаила Афанасьевича Булгакова майским днем 1927 года в личном альбоме Марии Павловны Чеховой, в уединенном аутском доме, относятся к Ялте. Как же отозвалось влияние этих мест в духовной биографии писателя, что представляли для него люди, с которыми судьба свела Булгакова в Крыму? Об этом и пойдет рассказ в нашей книге.

О пребывании в Крыму писателя, имя которого знала, пожалуй, вся читающая и театральная Россия 20—30-х годов, почти ничего не напоминает. Парадоксально, но имя автора «Бега» отсутствует даже в крымских историко-краеведческих работах последних лет. Например, в московских, киевских и симферопольских изданиях подобного рода, относящихся к 80-м годам, к эре возрождения и триумфа Булгакова, можно увидеть кабинеты П. Бирюкова и П. Павленко, прочитав о пребывании в Крыму К. Тренева и В. Маяковского, Д. Бедного, Б. Лаврентева, В. Вишневского, П. Тихонова, Э. Багрицкого, А. Корнейчука, Л. Соболева, А. Первешева, М. Залки, Д. Фурманова, А. Гайдара, Н. Погодина, В. Бишь-Белоцерковского — советской литературной элиты. Фамилии Булгакова там нет. Как будто это не он (сказавший: любить, значит жалеть — в отличие от многих писателей, воспевавших кровавую борьбу в Крыму) фактически первым изобразил подлинный Перекоп как трагедию родины..

«Лежи, фангаст с загражденными устами», — с горечью сказал о себе создатель «Мастера и Маргариты». Потребовалось пять десятилетий, чтобы свет хлынул, чтобы после полного неприятия Булгакова, а затем перекрашивания его романов и пьес в розоватые тона наследие писателя пришло к нам целиком, без умолчаний и купюр, и имя его стало известно и почитаемо в своем отечестве. И все же нуть этот лишь начинается.

Хотя произведения Булгакова изданы огромными тиражами, мы лишь начинаем постигать его личность. В новом прочтении и осмыслении нуждается и крымский период жизни писателя.

Конечно, предмет исследования «новит певцом глубоких радумий», ибо мы перелистываем повесть о сложной и противоречивой эпохе. Но воссоздадим прежде всего картину, без ярких красок которой, пожалуй, трудно ощутить силу

притяжения Мастера к этим берегам, почувствовать токи жизнеутверждающего начала, столь присущие Михаилу Афанасьевичу.

«Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вдохнуть — ощущаешь, как он входит струей»... «По укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования»... «На закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь и вдале»... — вот булгаковское видение Крыма.

Каким предстает крымский сюжет в многомерном пространстве булгаковского творчества, как выглядит этот уголок отчизны Мастера — после Кавказа, Киева, Москвы и Смоленщины, с любовью описанных его пером? Поразительно сдержанно, с трогательной любовью к творцу «Вишневого сада» и «Трех сестер» М. А. Булгаковым выписана тончайшая литературная гравюра «У Антона Павловича Чехова». Вошедший в его «Путешествие по Крыму», этот очерк, по сути, открывает послеоктябрьскую страницу в чеховском жизнеописании. Прекрасны булгаковские зарисовки Коктебеля, Ливадии, Ялты, дороги на Севастополь, зарисовки моментальные, почти фотографические, отражившие приметы времени и не похожие ни на какие другие. Джаякки и Чонгар... Карпова балка и Юшуль, Большой дворец в Севастополе... Мы отчетливо видим их сквозь дым «Бега». Отзвуки воспоминаний о Крыме звучат в «Мастере и Маргарите», в ялтинских страницах романа, продиктованных Михаилом Афанасьевичем в январе 1940 года, незадолго до смерти. Булгаков почти лишен зрения. Но в строках незавершенной пьесы упоминается Ласточкино пездо и встают видения Воронцовского дворца.

«Феодосийский поезд припел, припела гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря» — таковы первые такты булгаковской крымской главы с четким географическим обозначением.

В будоражащем ритме прозы Мастера — одна из тайн его сердца. Вспомним: Михаил Булгаков — дитя Киева, великого Города с удивительными горизонтами и величественной природной архитектурой, с почти осязаемым ощущением безбрежного зеленого пространства, открывающегося с круч над Днепром. Возможно, именно эти картины — живой первоисточник неугасаемой страсти Булгакова к магнетизму пути, и Крым обладает тут неким сродством с Киевом. Не случайно в «Белой гвардии» эпически возвышенный образ родного Города вызывает видения крымского Черноморья: «Сады красовались на прекрасных горах... Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние террасы, а те расходились все дальше и дальше, переходили в береговые рончи над шоссе, выщепея по берегу великой реки, и темная скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море» (2, I, с. 66—67).

Впрочем, «охота к перемене мест» — священная болезнь русских литераторов. Пушкина называли «Протеем» за его поразительную способность мысленным взором прощитать в любую страну, любую эпоху — от дней «всего

Олега» и смутного времени Бориса Годунова до моцартовской Вены и средневековой Италии. Булгакову, как и Пушкину, не повезло с заграничными маршрутами. «В заграничной поездке мне отказано, и я очутился вместо Сены на Клязьме»,— горько шутил он в 1935 году в письме Викентию Викентьевичу Вересаеву. Ограниченные властью пределы и полет мечты, ощущение силы своего таланта и вечный бастион перед Мастером... «А я? Ветер шевелит клены возле клиники, сердце замирает при мысли о реках, местах, морях. Цыганский стон в душе. Но это пройдет»,— пишет Михаил Афанасьевич в начале 30-х годов своему близкому другу и первому биографу Павлу Сергеевичу Попову. Тяготение к особой «ауре» Крыма и Кавказа отражено в дневниках и письмах М. А. Булгакова, а строки из «Багрового острова»— «...остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса»— навеяны, нам думается, таврическими ассоциациями.

Время соприкосновения Булгакова с Крымом, 1925—1930 годы — самое блистательное, многообещающее в жизни писателя, но и безмерно тяжкое, предвещающее дальнейшие грозы.

Вдумаемся же в хронику тех лет. Михаил Афанасьевич переступил порог волошинского дома в Коктебеле не как недавний врач, решивший посвятить себя литературе, а как создатель «Белой гвардии», высоко оцененной современниками. К лету 1925 года были написаны «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», и таким образом Булгаков заявил о себе как первооткрыватель острейших тем, как прорицатель поразительной силы.

Однако жизнь складывалась непросто, неоднозначно. Наступило труднейшее время для словесности, пришла эпоха «юрких авторов, знающих, когда падать красный колпак, а когда скинуть, когда петь сретение царю и когда серп и молот. Писатель, который не может стать ярким, должен ходить на службу с портфелем. В наши дни в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь, Тургенев переводил бы Бальзака и Флобера, Чехов служил бы в Комздраве». В этой характеристике литературной среды, принадлежащей Е. Замятину, ничего не преувеличено. Надо было обладать истинным мужеством, а не только талантом, чтобы решиться не «бегать с портфелем». К этой небольшой литературной плеяде принадлежал и Булгаков. Хотя бы поэтому он привлек к себе такое внимание в Доме поэта.

И еще один важный штрих. Во время пребывания в Коктебеле, в июньские недели 1925 года Михаил Афанасьевич завершил сценическую редакцию «Белой гвардии» для Московского Художественного театра. Быть может, в эти дни творческого озарения пред ним пронеслись и сны «Бега». Быть может, тут, под грядой Карадага, Булгаков впервые отчетливо ощутил, что стремительное течение Романа и магия Театра одинаково подвластны ему.

«Стираются и исчезают воспоминания»,— писал Мастер. Но все проходит и ничто не исчезает. «Дни Турбиных», возникшие из «Белой гвардии», появились на сцене МХАТа в 1926 году. Тогда же в театре Евгения Вахтангова была поставлена пьеса Булгакова «Зойкина квартира». В 1928 году в Камерном театре

зрители увидели его пьесу «Багровый остров». Газеты сообщали, что в Московском Художественном театре готовится к постановке «Бег». В 1928 году «Дни Турбиных» были поставлены в Берлине, и среди зрителей находился бывший гетман П. Скоропадский...

В 1929 году на чтении Булгаковым своей новой пьесы «Кабала святош» присутствовал член МХАТа — О. Л. Книшпер-Чехова, И. М. Москвич, В. Я. Станицын, М. М. Яшин, П. А. Марков... «Дорогой и милый Михаил Афанасьевич! Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр», — писал К. С. Станиславский в 1930 году. Мало кто из современников Булгакова добился за столь короткое время такого успеха в литературе и драматургии. И мало кто подвергался такой злобной хуле и клевете со стороны ревнителей «пролетарской культуры».

Нищета, улица и гибель... В этой булгаковской оценке своих перспектив нет преувеличения. В начале 1929 года в письме в вышние инстанции, одним из адресатов которого был Сталин, Михаил Афанасьевич писал: «...В настоящее время узнал о запрещении к представлению «Дней Турбиных» и «Багрового острова». «Зойкина квартира» была снята после двухсотого представления. Таким образом, к настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещенными, в том числе и выдержавшие около трехсот представлений «Дни Турбиных».

В 1926 году в день генеральной репетиции «Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ отправлен в ОГПУ, где подвергался допросу.

Несколькими месяцами раньше представителями ОГПУ у меня был произведен обыск, причем отобрали «Мой Дневник» в 3-х тетрадях и единственный экземпляр сатирической повести моей «Собачье сердце». Ранее этого подвергалась запрещению повесть моя «Записки на манжетах». Запрещен к переизданию сборник сатирических рассказов «Дьяволиада»... Роман «Белая гвардия» был прерван печатанием в журнале «Россия», т.к. запрещен был самый журнал» (57, с. 31).

Обыск, допрос, запрещения... Какое безбоязненное письмо, без тени искательства!

«Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой власти она не существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы...» — вот строки из письма Булгакова от 28 марта 1930 года правительству СССР, направленного властям через ГПУ! Они написаны во времена, когда уже почти безраздельно торжествовала лишь «начальственная правда», и можно себе представить дни и ночи писателя в обстановке, когда выражение «булгаковщина» превратилось чуть ли ни в официальное ругательство. Вот почему не будет преувеличением допустить: Крым — в лучших его чертах — являл для Михаила Афанасьевича как бы жизненный поток кислорода.

Последний раз ему довелось побывать тут летом 1930 года...

«Лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливаеся во все стороны». По старому узкому петляющему шоссе, отходящему от минаретов дворца «Дюльбер», где ныне миххорский санаторий «Красное знамя», идем вверх. Пять магнелий по краю асфальтированного двора, перенаселенный жилой дом причудливой архитектуры с несколькими паружными лесенками. Именно отсюда Михаил Афанасьевич писал далеким летом: «... Погода неопшеуемо хороша... Сейчас еду в Ялту...» Тут находился пансионат «Магнолия», где он, по сути, пережил прелюдию к «Адаму и Еве» и «Мастеру и Маргарите». Дорога, открытая заново... Авторами движет желание создать двойной портрет — Мастера в крымской теме и Крыма дней Булгакова. Найденные спустя шесть десятилетий пять вечнозеленых магнолий, след пансионата «Магнолия», давно исчезнувшего, — как бы доказательство, что сама природа хранит память о ее Певце.

Таково необходимое предуведомление. Важно, однако, отметить, что наше исследование — менее всего некоевольное повествование. Оно опирается на авторитетные литературные и документальные источники, на глубокие труды исследователей жизни и творчества М. А. Булгакова. Прежде всего это «Воспоминания» Л. Е. Белозерской (М., 1990), где из первых уст, талантливо и документально точно обозначены крымские вехи писателя. Чрезвычайно интересно исследование В. В. Гудковой, касающееся «Бега» (М. А. Булгаков. Пьесы 20-х годов, 1990). В книге «Остров Коктебель» В. Купченко (1991) и в очерке «М. Булгаков и М. Волошин» В. Купченко и З. Давыдова (сборник «М. А. Булгаков — драматург и художественная культура его времени». М., 1988) впервые описано коктебельское лето Михаила Булгакова. Эти же аспекты затрагивает М. О. Чулакова в «Жизнеописании Михаила Булгакова». В определенной мере они отражены и в переписке между М. А. Булгаковым и В. В. Вересаевым. Киммерин посвящена и книга З. Д. Давыдова «Максимilian Волошин. Коктебельские берега. Поэзия, рисунки, акварели, статьи» («Таврия», 1990). Наконец, еще малоизвестная, но значимая страница — изыскания Г. А. Шапогина, опирающиеся, в частности, на архивы и общение с чеховской семьей. Они впервые проливают свет на дружественные взаимоотношения между Михаилом Афанасьевичем Булгаковым и Михаилом Павловичем и Марией Павловной Чеховыми. Очерк об этом «Чеховское притяжение» был опубликован в 1986 году. Крыма касается и Ю. Г. Виленский в книге «Доктор Булгаков» (1991). Таким образом, мы развиваем начатое.

Какова же структура предлагаемой книги? Прежде всего это круг Коктебеля. Далее мы посетим дом А. П. Чехова в Лутке, где не раз бывал Михаил Афанасьевич, расскажем о ялтинских, миххорских и судакских днях писателя, а затем перелистаем страницы «Бега». В рамках избранной темы хотелось передать в образах истории подлинные черты тех далеких лет, с уже почти исчезнувшими топографическими и бытовыми подробностями и деталями, и точнее рассказать о современниках Булгакова.

В самом сюжете, в скрепении суждений и исканий, оказывается, таилось что-то булгаковское, с порою совершенно неожиданными для авторов прозрениями, поворотами и находками. Это касается и раздумий о влиянии волошинского Дома поэта на дальнейший творческий путь Булгакова, и мотивов нравственной связи с А. П. Чеховым, и сегодняшней трактовки «Бега», и последних крымских ассоциаций, не оставлявших Мастера...

Наконец, особая сторона нашего труда — зримый образ булгаковского Крыма. Большую работу тут проделал В. В. Навроцкий, собрав уникальный иллюстративный материал, редкие первоисточники тех лет, документально проследивший крымский путь писателя. Авторы выражают признательность коллекционерам, краоведам, способствовавшим в этом поиске. В книге также впервые воспроизводятся некоторые документы и фотографии из фондов ялтинского Дома-музея А. П. Чехова, относящиеся к описываемым событиям и встречам.

Все отклики, уточнения и дополнения будут встречены авторами с искренней признательностью. Они будут означать, что о Булгакове помнят и что наша работа, предпринятая в смутное время тревог и надежд, не была напрасной.

Глава I. «В БУХТЕ — КУРОРТ КОКТЕБЕЛЬ»

«На юг, на юг...»

Если, следуя из Феодосии в Коктебель, свернуть с магистральной дороги к этому знаменитому приморскому поселку — вашему взору откроются причудливый горный массив Карадага, увенчанный Святой Горой, Кучук-Енишар на востоке и Кок-Кая, обращенная к морю профилем поэта, на западе. А посередине — Коктебель... Несколько сот метров в сторону от узкого равнинного шоссе, и вы вдруг окажетесь на берегу залива. Вас поразят необыкновенные, играющие, флюоресцирующие краски моря и изменчивый, почти фантастический колорит гор — не случайно одна из них носит название Хамлеон.

Именно такую необыкновенную картину увидели в июне 1925 года Михаил Афанасьевич Булгаков и Любовь Евгеньевна Белозерская. А приезд их сюда имел свою предысторию. 10 мая Булгаков пишет в Коктебель Волошину:

«Многоуважаемый Максимилиан Александрович! Н. С. Ангарский передал мне Ваше приглашение в Коктебель. Крайне признателен Вам, не откажите мне черкнуть, не смогу ли я с женой у Вас на даче получить отдельную комнату в июле — августе. Очень приятно было бы навестить Вас. Примите привет. М. Булгаков».

Вскоре Волошин отвечает Булгакову:

«Дорогой Михаил Афанасьевич, будут очень рад Вас видеть в Коктебеле, когда бы Вы ни приехали. Комната отдельная будет. Очень прошу Вас привезти с собою все Вами написанное (напечатанное и ненапечатанное). Технические сведения: из Москвы почтовый поезд, прямой вагон на Феодосию. Феодосия — Коктебель: линейка (1 ½ р.) или катер (нерегулярно). Обед 60—70 копеек. Июль—август — наиболее людно. Прошу передать привет Вашей жене и жду Вас обоих. Максимилиан Волошин». Письмо Волошина датировано 28 мая. Обращает на

себя внимание сердечный и деловой тон письма. Булгаков предпочитает июнь.

Сборы в дорогу. «...Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла под землю и умолкла... Летели поля, мы резали на юг, на юг, опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было...

Прошли от Москвы до Джанкоя тридцать часов. Возле меня стоял чемадан от Мерилиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов... Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой» (2, I, с. 628 — 629).

Итак, южный пролог. «Очень приятно было бы навестить Вас...» Почему, однако, Булгаков стремился именно в Коктебель, а письмо Волошина, в свою очередь, выходит за рамки обычного гостеприимства? Несомненно, Михаил Афанасьевич был наслышан об атмосфере затерянного крымского уголка, да и вообще сказывалась «кровь путешественника»...

Но были и другие, прямые, причины и поводы воспользоваться неведомым южным маршрутом, вырваться из ритма изнурительной московской гонки. Влияние Черноморья мы встречаем в дневнике Михаила Афанасьевича еще в 1923 году. Удрученный службой в «Гудке» где, по его словам, он убивал «совершенно безнадежно свой день», атакуемый «сумбурной, быстрой, кошмарной жизнью», Булгаков крайне нуждался в отдыхе, в атмосфере беззаботности и непритворства.

Нельзя ведь не учесть и того, что Булгаков, выросший в условиях ровного киевского климата, был весьма чувствителен к переменам погоды. «Стоит отвратительное, холодное и дождливое лето», — отмечает он отдельной строкой в своих дневниковых записях в июле 1923 года. А в сентябре этого же года подчеркивает: «После ужасного лета установилась чудная погода. Несколько дней уже яркое солнце, тепло». «Уже холодно. Осень. У меня как раз безденежный период»... — вот запись 9 сентября. «Весна трудная, холодная. До сих пор мало солнца», — строки из дневника, написанные в апреле 1924 года. Это климатическое мироощущение в чем-то совпадает с чеховским отношением к погоде, к вращению времени. «До зарезу хочется весны... Работается плохо», — писал Антон Павлович, например, в одном из писем в 1888 году.

Но не только климат, не только солнце... Коктебель — и это знал пусть узкий круг интеллигенции — представлял собою

своеобразный островок либерализма и нестесненного свободо-мыслия среди мрачных конструкций казарменного социализма. Здесь все еще звучала свободная речь, в то время как вокруг утюг власти ритмично равнял все и вся... Конечно же, мы говорим прежде всего о волошинском Коктебеле — антиподе обстановки в Москве, о которой Булгаков писал, что живет «среди хандры и тоски по прошлому, в ...гнусной комнате гнусного дома». Проходят «многочисленные аресты лиц с «хорошими фамилиями». Вновь высылки». Увы, это были черты гнущего постоянства долгих-долгих лет, с вечным «квартирным вопросом». И в этом мире грубой подмены естественных норм жизни существовал Волошин.

Расскажем немного об этом Художнике и Поэте. Максимилиан Кириенко-Волошин вместе с матерью Еленой Оттобальдовной впервые побывал в этих местах в 1893 году. Максимилиану было шестнадцать лет. 17 марта он записал в дневнике: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым...» Да, это был великий день, и не только для него. Так будущий поэт впервые попал в Коктебельскую долину. Перед ним «без меры в длину, без конца в ширину расстилалось Черное море...» А вокруг царили дикая природа, влекущие природные краски, хаос первородства. Поселок существовал лишь несколько лет...

Первым попытался освоить эти прибрежные земли для отдыха и оздоровления известный офтальмолог Э. Ю. Юнге. Сосредоточение и теснота зубчатых скал, а рядом бескрайние степные равнины и солнечные просторы моря — это естественное сочетание не могло никого оставить равнодушным. Однако у Юнге не хватило средств на должный объем работ. Позднее Елена Оттобальдовна Волошина за небольшую цену приобрела маленький участок земли прямо на морском берегу.

С 1893 года Максимилиан Волошин учился в феодосийской гимназии. Тут он впервые выступил в печати как поэт, а на его способности к рисованию обратил внимание И. К. Айвазовский. Учеба в Московском университете, высылка в Феодосию под надзор полиции, знакомство с А. П. Чеховым, путешествие в Италию и Швейцарию, снова учеба, скитания по Крыму... «1900 год — стык двух столетий — был годом моего духовного рождения», — писал Волошин в автобиографии. По сути, в это время формировалась его нравственная ориентация — быть открытым каждому. В 1903 году он строит на берегу моря дом, и сейчас сохраняющий необычный облик и какие-то зримые, осязаемые черты духовной свободы. С той поры тут пристанище Волошина. А любовь к этим местам пробудилась намного раньше, еще в гимназические годы, в часы частых пеших

переходов в Коктебель и обратно в Феодосию. Почти одновременно с Максимилианом Александровичем тут строят дачи детская писательница Н. И. Манасейна, поэтесса П. С. Соловьева, затем публицист и писатель Г. П. Петров, а позже автор «Записок врача» В. В. Вересаев, искусствовед и исследователь истории мировой культуры А. Г. Габричевский.

Маловодье, польнь, жара — это и сегодняшние приметы Коктебеля. Даже добраться до захолустного поселка было нелегко, а для того, чтобы отважиться поселиться тут навсегда, нужен был своеобразный фанатизм. Однако поклонников Киммерии становилось все больше. «И Коктебель,— пишет В. Купченко,— дарил их щедро — безжалостное солнце, горький аромат, солоноватый ветер — все, что чужих, случайных тяготило и угнетало, вливалось в их души радостно. Наконец, в этой первобытности, тишине, дурманящих запахах таилось такое же, как в самом пейзаже, будоражащее и животворящее начало...» В стихотворении «Дом поэта» (1926), посвященном друзьям и гостям Коктебеля и опубликованном через двадцать лет после его смерти, Волошин писал:

Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу
всех дорог.
В прохладных кельях, беленных
известкой,
Вздыхает ветер, живет
глухой раскат
Волны, взмывающей на
берег плоский,
Польнный дух и
жесткий треск
цикад.
...Счастливый жребий
дом мой не оставил.
Ни власть не отняла, ни
враг не сжег,
Не предал друг, грабитель
не ограбил,
Утихла буря, догорал
пожар.
Я припал жизнь и этот
дом, как дар.

Действительно, этот дом стал притягательным и для других, превратившись в неповторимый Дом творчества, в коммуны мысли, достойную возрождения. В дореволюционные годы и дни гражданской войны здесь побывали А. Н. Толстой и М. М. При-

швин, М. И. Цветаева и А. М. Горький, А. С. Грин и К. И. Чуковский. Благодаря М. А. Волошину жизнь тут, пусть нередко в скудных условиях, становилась чудным даром...

А с 1923 года волошинский дом широко открывает двери для нового поколения «поэтов, ученых, художников и бродяг (в лучшем смысле этого слова)». Волошин создает в своем доме КОХУНЭКС — Коктебельскую Художественно-научную экспериментальную студию, добровольное сообщество интеллигенции, не имеющее аналогов. Поразительно, но для бдительных властей так и не дошел господствовавший здесь дух свободомыслия — осведомителей среди коктебельцев, по-видимому, не нашлось. В 1923 году в студии нашли приют шестьдесят человек, в 1924 — триста, в 1925 — четыреста. Среди них был и Михаил Афанасьевич Булгаков.

«Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, это — развороченный, в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг: с другой — между желто-бурьми, сверху точно по линейке срезанными грядками, переходящими в мыс, — «Прыжок козы» — вот своеобразная и контрастная панорама Коктебеля, данная Булгаковым. В очерке «Коктебель. Фернампиксы и лягушки» он пишет, что здесь „замечательный пляж, один из лучших на Крымской жемчужине“, с полосой песка, а у самого моря с мелкими, облизанными морем, разноцветными камнями. «Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы. На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни... Приезжает человек и, если он умный..., надевает короткие трусики, и вот он на берегу. Если не умный, — остается в длинных брюках, лишаящих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!»

Но почему в названии очерка мы встречаем слово «фернампиксы»? «Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиксов попадаются «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгают любители и «пейзажными собаками»... Те, кто камней не собирает, просто купаются, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные».

Перед нами фактически врачебные рекомендации, но как доходчиво написанные! Увы, сегодня в подобных описаниях преобладает унылый наукообразный стиль. «Только одно при-

мечание: Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить с очень расстроенной нервной системой. Я разьясню. Коктебельский ветер... дует круглый год, не бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает неврастеников».

Интересно, что о противопоказаниях к поездке в Коктебель Булгаков пишет в той же тональности, что и профессор И. М. Саркизов-Серазини, автор «Путеводителя по Крыму», один из добрых знакомых Волошина. А вот о новоявленных «хозяевах жизни» писатель говорит с сарказмом. Впрочем, ни таково ли люмпен-мещанство вообще? «Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький, т.е. в нем сравнительно мало нэпманов. Но всех-таки они есть (...). С ними жены и свояченицы: губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюст-гальтер, кремовые чулки и лакированные туфли». Да и сами «друзья природы» — «в твердой соломенной шляпе, при галстукке, в пиджаке и брюках с отворотами (...). Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиной к морю, лицом к кооперативу и едят черешни» (2, I, с. 630—632).

Очерки Булгакова «Выбор курорта и путешествие по Крыму» были опубликованы в «Красной газете» в июле — августе 1925 года буквально по горячим следам. К строкам лирической зарисовки стоит добавить, что у кафе «Бубны», на стене которого, как замечает Булгаков, красовалась надпись: «Нормальный дачник — друг природы, стыдитесь, голые уроды!», любопытная предыстория. Летом 1912 года, пишет В. Купченко, в Коктебеле возникла новая кофейня, открывая и содержащаяся греком Синопли: примитивный дощатый балаган с террасой на самом берегу. Художник А. В. Лентулов предложил дать новому заведению столичное название — кафе «Бубны». Общими усилиями все стены и простенки были украшены росписями и натюрмортами в лубочном стиле. Они сопровождались шуточными строфами: «Нет лучше угощения Жорж-Бормана печенья!», «Трубите весть во все концы про монпасье и леденцы!», «Мой друг, чем выше интеллект, тем слаще кажется конфект!» Здесь же висел шуточный портрет элегантного господина в панаме с цветком в руке и миловидной девушки в коротенькой тунике.

Под другими карикатурными, но уже персональными портретами красовались надписи: «Толст, перьящив и взъерошен Макс Кириенко-Волошин» и «Прохожий, стой! Се граф Алексей Толстой».

Популярностью в «Бубнах» пользовалась песенка «Крокодила»:

По берегу ходила
Большая Крокодила,
Она, она
Зеленая была.
В курорт она явилась
И очень удивилась,
Сказать тебе ль,
То был наш Коктебель...
От Юни до кордона
Без всякого пардона
Мусье подряд
С мадамами лежат.
Забралась она в «Бубны»,
Сидят там люди умны,
Но ей и там
Попался Мандельштам.
Явился Ходасевич,
Заморский королевич,
Она его,
Не съела, ничего.
Максимилиан Волошин
Был ей переполошен.
И он, и Пра
Не спали до утра...

Остается загадкой, почему Булгаков пишет, что «Бубны», к счастью, закрыты. По другим сведениям, кафе перестало существовать в 1935 году.

А предшествуют этой зарисовке булгаковские миниатюры «Неврастения вместо предисловия» и «Коктебельская загадка».

«Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвай сесть нельзя — почему так мало трамваев?.. На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим... (Напомним, что треснувшее пенсне было и у втируши-регента, Коровьева, в «Мастере и Маргарите», а у голого в рассказе «Ханский огонь» пенсне склеено фиолетовым сургучом. — *Авт.*)

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует денег. На общие собрания идти не хочется, а в «Аквариуме» какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке, и юрлство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену..., ему надо ехать в Крым.

— В какое место Крыма?..

— Натурально, в Коктебель,— не задумываясь, ответил приятель...

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидели на странице 370-й (Крым. Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. Физиотерапевтического Общества... Изд. «Земли и фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных... Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель». (В этом месте жена моя заплакала).

«...Отсутствие воды — трагедия курорта,— читал я на стр. 370—371,— колодезная вода, соленая, с резким запахом моря...»

«...К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобство сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни...»

Действительно, путеводители, которые не хвалят, а предрекдают, встречаются редко, но и в этих строках, как и во многих своих произведениях, писатель отталкивается от конкретных фактов. В отделе рукописей Национальной библиотеки России (бывшая Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина) в фонде М. А. Булгакова хранится экземпляр путеводителя «Крым» И. М. Саркизова-Серазини, принадлежавший Михаилу Афанасьевичу. Приведем некоторые выдержки, выделив слова, подчеркнутые Булгаковым синим и красным карандашами: «Крымское сирокко доводит нервных больных до исступления. Люди умственного труда чувствуют ухудшение... Неудобство комнат, полное отсутствие медицинской помощи... И не могут люди с больными нервами долго по ночам гулять... Как только траком окутывается долина, идут они в свои комнатки и спят, тревожимые страшными сновидениями».

С редактором путеводителя Иваном Михайловичем Саркизовым-Серазини (1887—1964) беседовал один из авторов книги, В. В. Навроцкий. Путешественник, профессиональный моряк, ученый-медик, либеральный журналист, собиратель нескольких коллекций картин, часть которых подарена им Третьяковской галерее и Русскому музею,— вот штрихи портрета этого человека! Как врач, к тому же уроженец Крыма (сын ялтинского рыбака), И. М. Саркизов-Серазини всесторонне оценил климатические и природные условия Коктебеля, трижды ссылаясь при этом на писателя-врача С. Я. Елпатьевского, впервые с меди-

цинских позиций описавшего эти места в 1913 году в «Крымских очерках».

Следует подробнее остановиться на личности Сергея Яковлевича Елпатьевского, «великолепнейшего старого романтика», как назвал его М. Горький. Булгаков, несомненно, был знаком с «Крымскими очерками» и, собственно, они легли в основу его «Коктебеля».

Булгаков так пишет о Елпатьевском: «Некогда в Коктебеле, еще в довоенное время, застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера. Три месяца сидел на полном пансионе студент..., написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернам-пиксам: «...и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подошвы...» А далее Булгаков добавляет: «Никаких подошв никто не поднимает и в жаркие дни лежат обнаженные и обветренные мужские и женские тела».

Бездомный студент?! Но С. Я. Елпатьевский, знаменитый крымский врач, лечивший К. М. Станюковича, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, был также известным литератором, печатался в журналах «Северный вестник», «Русская мысль», «Вестник Европы», ему посвящена статья в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. Правда, после революции его произведения не публиковали, так как В. И. Ленин критиковал С. Я. Елпатьевского за либерализм. Возможно, Булгаков не знал этих подробностей его биографии. И все же, если расширить цитирование, наблюдения автора «Крымских очерков» фактически совпадают с впечатлениями М. А. Булгакова и Л. Е. Белозерской, что «коктебельские недостатки переходят в достоинство». Да и сам стиль «Очерков» необыкновенно хорош.

«Я даже не вышел из экипажа и велел извозчику ехать дальше, за 10 верст в Отузы,— замечает С. Я. Елпатьевский,— недоумевая, что есть люди, которые находят удовольствие жить в этом лысом, неприятном месте»... «А затем Коктебель из врага становится другом. Это не сразу приходит, и Коктебель долго нежеланный, неприветливый... Очарование Коктебеля — море. Начинаешь открывать совсем особую красоту».

«Если сказать правду, Коктебель нам не понравился,— пишет Л. Е. Белозерская. — Мы огляделись. Не только пошлых кипарисов, но и вообще никаких деревьев не было... Никаких ярких красок, все рыжевато-сероватое. Первозданная красота, по выражению Максимилиана Александровича... Яд волошинской любви к Коктебелю постепенно и незаметно стал отравлять меня».

«Нигде в Крыму не ходят столько босиком, как в Коктебеле. Необыкновенная сухость воздуха, его бризы»... «Перед завтраком нужно выкупаться, и перед обедом часами сидят и лежат на берегу на мягком, теплом песке»... «Поиски камешков, переходящие в спорт...» Кстати, С. Я. Елпатьевский первым отметил целебные свойства курорта. «Здесь хорошо летом нефритикам, ревматикам... Коктебель — будущий летний, в особенности детский курорт».

Сравнивая строки, сделанные в разное время С. Я. Елпатьевским и М. А. Булгаковым, нельзя не заключить, что Мастер был знаком с «Крымскими очерками».

«И мы поехали...» Впереди их ждал Крым... Быть может, это было одно из самых желанных путешествий Михаила Афанасьевича, словно рожденного для объятия планетарного мироздания и так фатально ограниченного в свободе видеть мир.

Но откуда проистекает эта страсть к путешествиям, это чувство пути? Думается, начало этому в отрочестве автора «Мастера и Маргариты».

Михаил Булгаков окончил Первую киевскую гимназию лишь с двумя отличными оценками — по закону Божьему и по географии. Но отличное знание географии ему пригодилось мало — далеко ездить не пришлось. Зато, сочиняя книги, он много путешествовал по карте — в Париж с Мольером, в Испанию с Сервантесом, в Палестину с Иешуа Га-Ноцри. В 1920 году думал уехать за границу вместе с остатками белой армии, но тоже не удалось. Это путешествие он проделал в своем воображении вместе с Серафимой, Голубковым и Чарнотой.

Лишенный возможности увидеть свет, Булгаков путешествует в воображении не только в пространстве, но и во времени. В романе «Мастер и Маргарита» от постылой действительности «Массолита» Мастер переносится во времена проконсула Пилата, во времена трагической завязки повой, христианской эпохи человечества. В те же годы Булгаков возрождает идею «машинного времени», чтобы промчаться на 300 лет вперед, в «Блаженство». Буквально следуя словам чеховского героя (какая прекрасная жизнь будет через 200—300 лет!), писатель перемещается воображением в «социалистический рай», где реализованы самые дерзкие мечты — там нет ни милиции, ни прописки, там нет тюрем, потому что преступников лечат в больнице, там не пьют, хотя в каждом доме из крана течет чистый спирт. И там носят столь излюбленную форму одежды, как фрак... В комедии «Иван Васильевич», напротив, машина времени уносит героя на 400 лет назад, ко временам Ивана Грозного. Там Булгаков находит привычные для атмосферы 30-х годов подозрительность, расправу без суда и следствия. Недаром комедия так и не увидела свет при жизни автора...

Драматично последнее путешествие писателя. Он задумал написать пьесу «Батум», главным героем которой являлся молодой Сталин. Замысел получил одобрение «сверху», Булгакову выделили специальный вагон для поездки на Кавказ, создали творческую «бригаду». Но в Серпухове вагон нагнала телеграмма: «Надобность поездке отпала...» Срыв поездки без каких-либо объяснений в очередной раз глубоко обидел Мастера...

Все это, однако, будет потом.. Стояло лето 1925 года, и Булгаков, впервые познавший успех и тернии писательской славы, впервые вольно выбрав маршрут, мчался сквозь поля на юг.

«Но цензура режет его беспощадно»

А теперь пора обратиться к долгое время скрытому подтексту крымских зарисовок, к тому, что в эти дни чувствовал, оценивал, комментировал М. А. Булгаков на самом деле, для самого себя. Ведь строки «Путешествия» были рассчитаны на публикацию, и, так или иначе, существовал предел дозволенного, определенный опытом московского газетчика. Конечно же, и эти искрометные ироничные наброски отражают неповторимый литературный стиль Булгакова. Но не самое сокровенное...

Прочсть мысли Михаила Булгакова без невольных умолчаний позволяют относящиеся к этому периоду его дневники «Под пятой», лишь недавно найденные в недрах специальных хранилищ и обнародованные в 1990 году. Характеризуя этот уникальный документ времени, один из его публикаторов Григорий Файман справедливо подчеркивает: «Расковыченный Булгаков под разными авторскими фамилиями преподносился в качестве истории его творчества и жизни». Но ведь существовал совсем другой, всевидящий Булгаков, впервые встающий в своем истинном мировоззрении в этих записках, изъятых при обыске в квартире писателя в 1926 году (во время которого он позволил себе сказать следователям, что кресла могут выстрелить) и возвращенных после долгих хлопот, а затем сожженных Михаилом Афанасьевичем. Но неисповедимыми путями они вернулись к нам — копия, снятая, очевидно, в ГПУ, хранилась в архиве.

Итак, Москва, 20-е годы, Михаил Булгаков один на один с эпохой...

«25 февраля 1924 г. Понедельник.

Сегодня вечером получил от Петра Никаноровича (Зайцева. — *Авт.*) свежий номер (альманаха) „Недра“. В нем моя повесть „Дьяволиада“... Впервые я напечатан не на газетных листах и не в тонких журналах, а в книге альманаха. Да-с. Скольких мучений стоит...»

Отметим, что речь в этих строках идет о П. Н. Зайцеве (1889—1970), поэте, прозанике и издательском работнике, заведующем редакцией издательства «Недра» в 1923—1925 годах, сыгравшем немалую роль в творческой судьбе М. А. Булгакова.

«15 апреля. Вторник.

Злобой дня до сих пор является присланная неделю тому назад телеграмма Пуанкаре. В этой телеграмме Пуанкаре позволил себе вмешаться в судебное разбирательство по делу Киевского областного «центра действия» и серьезно просить не выносить смертных приговоров. В газетах приводятся ответы и отклики на эту телеграмму киевских и иных профессоров. Тон их холуйский. Происхождение их понятно... Сегодня в „Гудке” кино снимало сотрудников. Я ушел, потому что мне не хочется сниматься».

Нелишне высказать предположение, почему Михаил Афанасьевич не захотел быть зафиксированным на киноплёнке. Ведь он вынужден был скрывать, что служил врачом в Добровольческой армии.

«25 июля. Пятница.

Ну, и выдался денек! Утро провел дома, писал фельетон для „Красного перца”, затем началось то, что приходится проделывать изо дня в день, не видя впереди никакого просвета — бегать по редакциям в поисках денег...»

«2 августа. Суббота.

Сегодня состоялась демонстрация по случаю десятилетия „империалистической войны”...

Лавочник Ярославцев выпустил, наконец, свой альманах „Возрождение”. В нем 1-я часть „Записок на манжетах”, сильно искаженная цензурой».

«18 октября. Суббота.

Я по-прежнему мучаюсь в „Гудке”.

Сегодня день потратил на то, чтобы получить 100 рублей в „Недрах”. Большие затруднения с моей повестью-гротеском („Роковые яйца”). Ангарский наметил мест 20, которые надо по цензурным соображениям изменить...»

«20 декабря (в ночь на 21-е)

Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора „Недр”. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее...

Были: Вересасв... Зайцев П. Н. ...

Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а, кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести „Роковые яйца”. Говорят, что страшно понравилась...»

«4 января 1925 г.

Сегодня вышла „Богема” в „Красной Ниве” № 1. Это мой выход в специфически-советской топкой журнальной клоаке. Эту вещь я сегодня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило странно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Подхалимством веет от этого отрывка...

Так входил Булгаков в 1925-й год, такими видел он время и мир. Характерно, что в дневниках упоминается Петр Никанорович Зайцев, Николай Семёнович Клестов-Ангарский и Викентий Викентьевич Вересаев, вечерние откровенные беседы с ними. Следует особо сказать о Н. С. Ангарском (1873—1943). В статье о нем, помещенной в «Краткой литературной энциклопедии» (1962), говорится, что он был участником Октябрьской революции, выпускал социал-демократические брошюры, в частности, труды В. И. Ленина. В 1924—1932 годах руководил издательством «Недра». Утверждал марксистские принципы художественного анализа. Мы можем добавить, что, к счастью, Н. С. Ангарский утверждал не только одни принципы. Быть может, без него не состоялся бы тот Булгаков, какого мы знаем. В этой же энциклопедии в небольшой статье о М. А. Булгакове (без его портрета) говорится, что в его «сатирических остропротескных рассказах отразилось неприятие действительности писателем, не сумевшим за «гримасами нэпа» разглядеть истинное лицо времени». А Булгаков как раз разглядел все.

Необходимо подчеркнуть, что именно эти три честных человека, три российских литератора, пожалуй, во многом и проложили перед Булгаковым писательскую дорогу, а значит, и открыли коктебельскую тропу, подарили благословенное лето. Мы бы назвали их тремя спасителями-богатырями на трудных перепутьях жизни писателя.

В книге «Воспоминания о Михаиле Булгакове» (М., 1988) М. О. Чудакова впервые привела фрагменты из записок П. Н. Зайцева, одним из первых заинтересовавшегося романом «Белая гвардия» с благородной целью издания его. П. Н. Зайцев переслал «Белую гвардию» В. В. Вересаеву. Вот здесь-то и начинаются истоки необыкновенного жизненного сюжета.

«Роман произвел на нас большое впечатление... — пишет П. Н. Зайцев. — Я не задумываясь высказался за его печатание в „Недрах”, но Вересаев был опытнее и трезвее меня... Направленность романа, по его мнению, по идеологическим причинам нам не подходила. (О, эти вынужденные «идеологические причины»! — *Авт.*) Может быть, Вересаев вспомнил, как совсем недавно был принят его собственный роман „В тунике”. Булгаков был огорчен этим отказом. Рушились его

надежды на выправление материальных затруднений... Я, как мог, постарался его успокоить, сказав, что, конечно, отзыв Вересаева имеет значение, но главное слово — решение принадлежит редактору „Недр” Н. С. Клецову-Ангарскому, возвращения которого из Берлина я ожидал.

Булгакову ничего не оставалось делать, как ждать.

Летом В. В. Вересаев уехал в Крым. В августе я... повидался там с Вересаевым. Он мне повторил устно, что роман Булгакова „Недра” не могут печатать... Уже по дороге в Коктебель мы говорили с Ангарским о Булгакове и его романе... Н. Ангарского и В. Вересаева подкупали в Булгакове его талантливость и реалистическое изображение, но роман решили не печатать. С этим грустным для Булгакова сообщением я в начале сентября вернулся в Москву.

...Вдруг меня осенило.

— Михаил Афанасьевич,— обратился я к нему,— нет ли у вас что-нибудь другого готового, что мы могли бы напечатать в „Недрах”?

Чуть подумав, он ответил:

„Есть у меня почти готовая повесть... фантастическая...”

Через неделю он принес рукопись своей новой повести „Роковые яйца”».

В период этих перипетий с рукописями М. А. Булгакова познакомился и М. А. Волошин. В связи с публикацией его первой части романа «Белая гвардия» в журнале «Россия» М. А. Волошин 25 марта 1925 года писал Н. С. Ангарскому: «...В печати видишь вещи яснее, чем в рукописи... И во вторичном чтении эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной: как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».

Напомним, что первому и самому любимому своему роману Михаил Афанасьевич придавал чрезвычайное значение. Он писал в дневниках: «...Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем...» «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих опущениях я уже больше не могу...» «Отзыв о «Белой гвардии» меня поразил, его можно назвать восторженным, но еще до... отзыва окрепло у меня что-то в душе». Конечно же, слова Волошина о романе были дороги Булгакову. Далее, касаясь «Роковых яиц», Волошин добавлял: «Рассказ М. Булгакова очень талантлив и запоминается во всех деталях сразу... Мне бы очень хотелось познакомиться лично с М. Булгаковым, и так как Вы его наверно увидите,— то передайте ему мой глубокий восторг перед его талантом и попросите его от моего имени приехать ко мне на лето в Коктебель».

Это письмо прочел и В. В. Вересаев. 6 апреля 1925 года он пишет М. А. Волошину: «Очень мне приятно было прочесть Ваш отзыв о М. Булгакове, „Белая гвардия“, по-моему, вещь довольно рядовая, но юмористические его вещи — перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь „Собачье сердце“, и он совсем пал духом. Да и живет почти нищенски. Пишет грошковые фельетоны в какой-то „Гудок“ и, как выражается, обворовывает сам себя. Ангарский мне передавал, что Вам к нему письмо Булгаков взял к себе и переписал его».

Викентий Викентьевич Вересаев — легендарная фигура в отечественной культуре. Булгаков особо выделял его среди «инструкторов по прозаической части». Но отметим, что и Вересаев необычно внимательно и бережно относился к Булгакову. Известно, например, что Викентий Викентьевич дважды оказывал Михаилу Афанасьевичу денежную помощь, причем в очень тактичной форме. В один из таких трудных моментов, когда прекратилось печатание «Белой гвардии» (хотя к этой вещи Вересаев относился сдержанно), он писал Булгакову: «Поймите, я это делаю вовсе не лично для Вас, а желая сберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем». Конечно же, Вересаев стремился прежде всего лично поддержать Булгакова, но как, в какой деликатной манере!

«С огромными надеждами» написал однажды Вересаев на переведенных им «Гомеровых гимнах», подаренных Булгакову. Около пятнадцати лет они не только встречались, но и переписывались, и старый русский писатель бережно хранил письма Булгакова, завещав, что они должны быть опубликованы без купюр. Это произошло лишь спустя четыре десятилетия после кончины Вересаева — благодаря хранителям его наследия В. М. Нольде и Е. А. Зайончковскому...

Но обратимся к теме — Вересаев и Коктебель. Викентий Викентьевич был связан с приморским поселком с 1916 года. Здесь он прожил и годы революции и гражданской войны, написав драму «В священном лесу», воспроизводящую коллизии врачебной жизни и предшествующую булгаковским «Запискам юного врача». «Что-то в нашем воздухе есть животворное», — писал он С. Я. Елпатьевскому о днях работы над пьесой. Между тем жизнь в Коктебеле в то время была нелегкой. О лете 1921 года Вересаев вспоминал: «Дела были очень плохи. Я недавно перенес цингу. Кур у нас покрали... угок мы пытались кормить медузами... Голодали». В Коктебеле возобновилась и врачебная практика доктора Вересаева. Крестьяне платили за визиты продуктами, но одежду достать было нельзя, и Вересаев на

велосипеде объезжал своих больных в ночной рубашке. Уже в столице Вересаев не забывал крымчан и много делал для них, ведя регулярную переписку с М. А. Волошиным. Можно предположить, что о Коктебеле и Волошине Булгаков впервые услышал в Москве от Викентия Викентьевича.

«Прелестная морская бухта с отлогим пляжем из мелких разноцветных камушков, обточенных морем,— писал В. В. Вересаев о Коктебеле. — Вокруг бухты горы изумительно благородных очертаний, которые мне приходилось наблюдать только в Греции... Коктебельская долина в сравнительно еще недавние времена представляла собой морское дно, поднятое кверху подземными силами. Чувствуется, что тут когда-то были катастрофические пертурбации, землетрясения, взрывы — и все вдруг в этом бешеном кипении и движении окаменело. Справа высятся крутые утесы Карадага; на склоне его выступы скал образуют совершенно определенно человеческий профиль, несколько напоминающий профиль Пушкина. Впрочем, постоянно живший в Коктебеле поэт Волошин утверждал, что это его профиль...

Дача Волошина находилась в центре дачного поселка, на самом берегу моря,— продолжает Вересаев. — Основное ее здание представляло из себя полуовальную башню, двумя ярусами окон обращенную к морю, сзади и с боков она обросла балкончиками, галереями, комнатами, уходящими в глубь двора. Овальная башня называлась «мастерская». Это был высокий поместительный зал в два света; сбоку лестница вела на хоры, где находилось несколько мягких диванов. Широкая стеклянная дверь, задергивавшаяся золотисто-желтой, чтобы получалось впечатление солнечного освещения, занавесью, вела в соседнюю комнату, где был стол, кресла. Здесь жил Волошин. И мастерская и кабинет Волошина были во всю высоту заставлены полками с книгами... Книг было очень много, все очень ценное по литературе французской и русской, литературоведению, философии, теософии, искусствоведению, религии... Книг по естествознанию не замечал, поражало полное отсутствие книг по общественным и экономическим наукам. Он с радостью заявлял, что Маркса не читал и читать не будет» (18, с. 526, 532—533).

Эти строки были написаны В. В. Вересаевым в 1939 году в Киеве, родном городе Булгакова, возможно, в дни, когда Михаил Афанасьевич урывками возвращался к «Мастеру и Маргарите». И есть знаменательное совпадение, что видение Коктебеля как сгустка геологических потрясений далеких времен у Вересаева и Булгакова совпадают. Правда, у Булгакова рисунок, пожалуй, экспрессивнее. В августе 1925 года он писал Вересаеву именно в Коктебель: «Ежедневное созерцание моего управдома, рассуждающего о том, что такое излишек площади, толкнуло меня

на подачу анкеты в КУБУ (комиссию по улучшению быта ученых, оказывавшую содействие и литераторам. — *Авт.*). Если Вы хоть немного отдохнули и меня не проклинаете, не черкнете ли квалифицированной даме... или мне (не упоминая об отрицательных чертах моего характера) Ваше заключение обо мне...

Когда собираетесь вернуться? Как Ваше здоровье? Работаете ли над Пушкиным? Как море? Если ответите на все эти вопросы — обрадуете. О Вас всегда вспоминаю с теплом».

К этому времени Булгаков уже побывал у Волошина. «Как море?» — тяготение к коктебельскому уголку жило в Булгакове, а энергия моря и солнца как бы аккумулировала и обновляла его силы. Однако, касаясь темы «Булгаков и Коктебель», выделяя особую роль М. А. Волошина в дальнейших творческих исканиях Мастера (вопрос этот, кстати, почти не исследован), вспомним еще раз в этой связи имена П. Н. Зайцева, Н. С. Ангарского и В. В. Вересаева. Их бескорыстное отношение к собрату по перу, от которого они лично никак не зависели и не могли ожидать никаких благ, активное стремление помочь ему по нынешним временам и меркам кажется из ряда вон выходящим поступком. Между тем это была просто норма для людей, о которых Булгаков в 1930 году, вступая в открытое противоречие с целым полком Латунских, Двубратских, Берлизов, сказал, аттестуя свое творчество: «Упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране». Когда-то точно так же А. И. Герцен приветствовал появление произведений Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. «Есть новый талантливый автор», — с восторгом отзывался он о повести «Детство». «Если хочешь мне сделать пластырь на раны, то пришли «Записки из мертвого дома»» — вот отрывок из другого его письма. Необходимо отметить, что в эпоху крушения нравственных начал первыми руку помощи собрату, не вписывающемуся даже в трафареты «попучика», протянули представители интеллигенции в подлинном смысле этого слова, а не партийные «либералы» Луначарский и Каменев. «В Москве долго мучился, чтобы поддержать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания... Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни», — писал М. А. Булгаков в автобиографии в октябре 1924 года. Какое все-таки счастье для потомков, что нашлись в то далекое время люди, понявшие: Булгаков — неповторимое явление. Еще раз назовем четыре имени: Петр Зайцев, Николай Ангарский, Викентий Вересаев, Максимилиан Волошин. Думается, сказанное выше — необходимый комментарий к «Коктебелю. Фернампиксам и лягушкам».

«Перед нами стоит могучий человек, с брюшком, в светлой длинной с подшюяской рубаше, в штанах до колен, широкий в плечах... Грива русых с проседью волос перевязана на лбу ремешком, — и похож он был на доброго льва с небольшими умными глазами. Казалось, он должен заговорить мощным зычным басом, но говорил он негромко и чрезвычайно интеллигентным голосом (он и стихи читал — без нажима, сдержанно)» — так описывает встречу с Волошиным Любовь Евгеньевна Белозерская. О Максимилиане Александровиче Волошине писали многие, однако этот портрет совершенно своеобразен. В нем проступает любовь к Волошину. И еще существенная деталь — Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна слушали стихи Волошина. А учитывая особый, острый интерес Волошина к творчеству Булгакова, мы уверены, что они не раз беседовали вдвоём, быть может, на почвой «вышке». Во всяком случае, влияние нравственной позиции Волошина в годы гражданской войны, как и его личности, на концепцию «Бега», на наш взгляд, весьма велико. Собственно, именно Булгаков и Волошин, вопреки всему, бесстрашно встав над красными и белыми, в одном ключе думали и писали о бедствиях Родины. И в русской усобице для них не было изгоев...

Благословенный июльский день... Вместе с Максимилианом Александровичем чету Булгаковых ласково приветствовала его жена Мария Степановна. Она, пишет Л. Е. Белозерская, стояла в тени его монументальной фигуры. Согласно записям в домово́й книге, Булгаковы приехали к морю 12 июня 1925 года. Но не исключено, указывают В. Купченко и З. Давыдов, что эта запись сделана задним числом, с некоторым сдвигом даты. Быть может, для финотдела, для уменьшения налога... Жили Волошины небогато. Максимилиан Александрович практически ничего не зарабатывал, а Мария Степановна, лечившая как фельдшерница больных в деревне, получала за свои труды копейки. Впрочем, скромным бытом тут не тяготились. Его компенсировало духовное общение.

На берегу стояли три постройки: основное здание — Дом поэта, за ним домик без фундамента типа татарской сакли, а поодаль двухэтажный дом, принадлежавший потомкам первооткрывателя Коктебеля Юнге. В маленьком домике получили приют только что женившийся Леонид Леонов и его тоненькая, как тростиночка, жена, вспоминает Л. Е. Белозерская. Михаила Афанасьевича и Любовь Евгеньевну поселили в нижнем этаже дальнего дома. Их соседом был поэт Георгий Шенгелин, а вскоре

приехала его жена, тоже поэтесса, Нина Леонтьевна. «...Мы огляделись: никаких ярких красок, все рыжевато-сероватое. «Первозданная красота», по выражению Максимилиана Александровича...»

В первый же вечер после приезда (об этом есть упоминания в письмах коктебельцев) Булгаков читал обитателям волопинского дома фантастическую повесть «Роковые яйца», только что выпущенную в альманахе «Недра». Читал Михаил Афанасьевич неподражаемо, да и сам сюжет захватывал. Некий профессор зоологии Персиков открывает неизвестное излучение, стимулирующее размножение, рост и необыкновенную жизнестойкость живых клеток. «Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!.. герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор...» Было решено использовать изобретение для решения «продовольственной программы»: под руководством РОККа создается специальная ферма для выращивания гигантских кур. Но, как это водится, по вине чиновников-бюрократов вместо куриных яиц завезли нечто иное... И вот стране грозит нашествие гигантских змей, вылупившихся из облученных «роковых яиц». Они движутся к Москве, сметая города и воинские заслоны. Любопытно отметить, что нашествие проходит по маршруту наполеоновской армии 1812 года. Оно кончилось так же неожиданно, как и началось: среди августа ударил 18-градусный мороз, перед которым были бессильны и Наполеон, и пресмыкающиеся...

Несомненно, повесть о гадах была выслушана хозяевами дома с особенным вниманием. По странному стечению обстоятельств, совсем недавно, года три—четыре назад, жители Коктебеля были взбудоражены появлением необыкновенного змея. Об этом писала даже феодосийская газета в 1921 году: якобы на Карадаге объявилось чудинце, на поимку которого отрядили целую роту красноармейцев. Трудно судить, насколько достоверным было это сообщение, однако ятинский специалист по пресмыкающимся С. А. Шарыгин считает, что нечто подобное вполне могло произойти. Еще в прошлом веке на Карадаге неоднократно видели гигантских змей — то морских, то сухопутных. Очевидно, это были крымские полозы — безвредные представители змеиного царства. Двухметровый желтобрюхий полоз, заглотив суслика, делался толще руки и, конечно, вызывал страх у неосведомленных людей. Кроме того, в окрестностях Карадага водились и морские тюлени-монахи, которых тоже не раз принимали за змеев.

Эта история с коктебельским змеем странно переплеталась с фантастикой Михаила Булгакова. Вдова Волопина Мария Степановна впоследствии утверждала, что Максимилиан Алек-

сандрович вырезал заметку из феодосийской газеты и послал ее в Москву Булгакову и что именно эта история легла в основу булгаковских «Роковых яиц».

Просыпались в Коктебеле рано. «Я неизменно пугалась,— замечает Любовь Евгеньевна,— что пасмурно и будет плохая погода, но это с моря надвигался туман. Часам к десяти пелена рассеивалась и наступал безоблачный день. Длинный летний день».

Прекрасная бухта и милые люди вокруг. Дни эти были необыкновенными — по своему эмоциональному заряду, щедрости солнца и моря, по неожиданным темам и впечатлениям.

Но обратимся к духовной переключке между Волошиным и Булгаковым. Это отнюдь не надуманная, искусственная тема, а скорее, возвращение к истокам. В поэзии Волошина времен гражданской войны явственно звучит символика, определяющая и замысел, и тональность булгаковского «Бега». Конечно, это не заимствование, но совпадение раздумий... Переживание «роковых минут» истории обращает взор поэта к высокой лексике Библии:

Бичами страстей гонимы —
Распятые серафимы
Заточены в плоть:
Их манит горящим жалом,
Торопит гореть господь»

(«Из бездны», 1918)

Апокалипсическому зверю
Ввергнутый в зияющую пасть,
Павший глубже, чем
возможно пасть,
В скрежете и мраке,— верю!
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»

(«Готовность», 1921)

Но вспомним, что пьеса об «обугленной России» сперва называлась «Рыцарь Серафимы», а вестовой Крапилин бросает в лицо генералу Хлудову слова: «Зверь».

Вряд ли это чисто случайные ассоциации. Есть у Волошина и обращения к теме бега — «вседневный бег», где «сквозняк событий сбивает с ног».

«России нет — она себя сожгла», — восклицает Волошин в стихотворении «Европа» (1918), и в нем мы встречаем и слова «солнца бег». А в стихотворении «Демоны глухонемые» (так же назван и сборник, выпущенный Волошиным в Харькове в 1919 году) он указывает, что источником этой образности явилась книга пророка Исайи. В частном письме Волошин сообщал, что «демоны глухонемые» — ангелы, через которых вещает святой дух. Любопытно, что «Библейский энциклопедический словарь» так толкует слово серафим: «...Когда Исайя в тоске подумал, что погиб, тогда прилетел к нему один из серафимов, прикоснулся к его устам и объяснил ему о благодати примирения». Совершенно очевидно, что семантика образа Серафимы как главной героини «Бега» в определенной мере связана с Волошиным и Библией.

К 1920 году относится стихотворение Волошина «Закливание от усобицы»:

Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколений,
Из душ крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, иступлений —
Возникнет праведная Русь.

Но ведь эти строки — философский конспект «Белой гвардии» и будущего «Бега». Прочтя начало романа, Волошин бесспорно почувствовал в его авторе человека необыкновенно близкого ему в понимании недавних исторических событий. Отсюда-то и проистекает их взаимное тяготение. Нет сомнений и в том (хотя в современной Булгаковиане подобные фактологические мотивы отсутствуют), что Булгаков знал поэзию Волошина, между ними наверняка велись серьезные литературные разговоры. «Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию «Белая гвардия» — так надписал Волошин свой сборник «Иверни». В том же духе морального единения воспринимается и другой волошинский подарок — акварель с посвящением «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с глубокой любовью».

Добавим, что в программном стихотворении Волошина «Дом поэта» встречается слово «изгой», являвшееся первоначально названием задуманной Булгаковым пьесы:

И ты, и я — мы все имели честь
Мир посетить в минуты роковые
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, я пасынок России.

Наконец, вдумаясь в образ Голубкова. Тема «рыцаря Серафимы» имеет емкий смысл. Символика «голубя», по «Библейскому энциклопедическому словарю», объединяет и «невинность и чистоту», и знак «святого духа». На наш взгляд, портрет Голубкова в чем-то навеян нравственным обликом Волошина — человека, столь близкого к Дон Кихоту, «странствующему рыцарю», воспетому Булгаковым на исходе жизни. «Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унижительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь!.. Моя цель светла — всем сделать добро и никому не причинить зла». В «Дон Кихоте» Булгакова, написанном в 1938 году, есть особенности образа Максимилиана Волошина — одного из немногих рыцарей XX века.

Думается, в беседах Волошина и Булгакова звучала и тема террора. Собственно, в «Роковых яйцах» Булгаков упомянул о ней: Рокк, всем своим обликом и историей назначения в Грачовку свидетельствует о том, что он фигура из ВЧК, до этого с губительным маузером «трудился» в Крыму. «Красное возмездие» не обойдено и в «Беге»: «Опомнитесь, вас сейчас же расстреляют!» «— Моментально... Мгновенно... Ситцевая рубашка, подвал, снег... Готово». Достаточно было пообщаться с Волошиным, чтобы узнать подробности этой трагедии. Михаил Афанасьевич, конечно, видел замаскированные антресоли в зимнем кабинете поэта, где от белых скрывались красные, от красных — белые. По иронии судьбы в этом доме жил и Бела Кун — один из организаторов беззаконий в Крыму после поражения Врангеля. Им был придуман лицемерный ход — все белогвардейцы, оставшиеся в Крыму, обязаны были пройти регистрацию, после чего им обещалась амнистия. В результате десятки тысяч людей, поверивших большевистским воззваниям, были расстреляны. Кун заметил в те дни: «Товарищ Троцкий сказал, что не придет в Крым до тех пор, пока хоть один контрреволюционер останется в Крыму»

«Чистка» была циничной. В 20-х годах М. А. Волошин, как свидетельствует Роман Гуль, переслал в Париж письмо с описанием этих преследований. Кун в какой-то мере стал приятельствовать с Волошиным и даже разрешил ему вычеркивать каждого десятого из списков обреченных. Волошин делал это со страшными мучениями, потому что знал, что девять остальных будут убиты» (29, с. 45).

Мы полагаем, что именно Булгакову Волошин мог безбоязненно прочесть строки о Крыме 20-х годов:

Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кроили лампасы»,
Делали однорогих чертей.

...Но к истокам булгаковской пьесы мы еще обратимся. Пока же вновь воспоминания Л. Е. Белозерской.

«Конечно, мы, как и все, заболели типичной для Коктебеля «каменной болезнью». Собирали камешки в карманы, в носовые платки, считая их по красоте «венцом творенья», потом вытряхивали свою красоту перед Максом, а он говорил, добродушно улыбаясь:— Самые вульгарные собаки!..

Ходили на Карадаг. Впереди необыкновенно легко шел Максимилиан Александрович.

Зрелище величественное, волнующее... Как сладко потянуло в эту бездну!

Вот это и есть головокружение,— объяснял мне М. А., отодвигая меня от края.

Он не очень-то любил дальние прогулки. Кроме Карадага, мы все больше ходили по бережку, изредка, по мере надобности, купаясь. Но самым развлекательным занятием была ловля бабочек. Мария Степановна снабдила нас сачками.

Вот мы взбираемся на ближайшие холмы — и начинается потеха. М. А. загорал розовым загаром светлых блондинов. Глаза его кажутся особенно голубыми от яркого света и от голубой шапочки, выданной ему все той же Марией Степановной.

Он кричит:

— Держи! Лови! Летит «Сатир»!

...Впоследствии сестра М. А. Надежда Афанасьевна рассказала, что когда-то, в студенческие годы, бабочки были увлечением ее брата, и в свое время коллекция их была подарена Киевскому университету...

Уморившись, мы идем купаться. В самый жар все прячутся по комнатам. Ведь деревьев нет, а значит, и тени нет. У нас в комнате не жарко, пахнет полынью от влажного венника, которым я мету свое жилище.

Как-то Анна Петровна Остроумова-Лебедева выразила желание написать акварельный портрет М. А.

Он позирует ей в той же шапочке с голубой оторочкой, на которой нашиты коктебельские камешки. Помнится, портрет мне тогда понравился...

Из женского населения волошинского дома первую скрипку играла Наталья Александровна Габричевская... Муж ее, Александр Георгиевич, искусствовед и поклонник красоты, мог

воспеть архитектонику какой-нибудь крымской серой колючки, восхищенно поворачивая ее во все стороны и грассируя при этом с чисто французским изяществом.

В музее изобразительных искусств им. Пушкина, в зале французской живописи, стоит мраморная скульптура Родена — грандиозная мужская голова с обильной шевелюрой. Это бюст Георгия Норбертовича Габричевского, врача, одного из основоположников русской микробиологии.

Габричевский-сын совсем не походил на мраморный портрет своего отца. Он был лысоват и рыхловат, несмотря на молодой еще возраст — было ему в ту пору 32—33.

С этой парой мы уже встречались у Ляминых...»

Укажем, что Г. Н. Габричевский (1860—1907), сверстник А. П. Чехова, в течение своей короткой жизни наметил пути борьбы с такими заболеваниями, как дифтерия, тиф, скарлатина, создав ряд вакцин и организовав отечественную бактериологическую службу. По его пути пошел врач Николай Булгаков, младший брат Михаила Афанасьевича, один из создателей бактериофагов. Институт микробиологии в Москве носит имя Г. Н. Габричевского.

Николай Чуковский пишет об Александре Габричевском: «Габричевский был создан для Коктебеля — солнце, море, горы, вино, стихи, дамы, разговоры, книги,— лучшего в жизни он не искал. И он застрял в Коктебеле навсегда». К этой достаточно облегченной характеристике мы должны добавить отрывки из воспоминаний ученицы Генриха Нейгауза пианистки и музыковеда Ирины Викторовны Шумской. Они подготовлены специально для этой книги; в них более подробно описаны последующие годы жизни А. Г. Габричевского. Такая участь постигла многих друзей и знакомых Булгакова... Встреча И. В. Шумской с А. Г. Габричевским относится к 1942 году.

«Он появился дома у Генриха Густавовича сразу после своего приезда в Свердловск из ссылки в глухой городок Свердловской области Каменск-Уральский. Это был довольно толстый, крупный человек, высокий, с огромным лбом, в очках с толстыми стеклами. Он был очень близорук, несколько пестушко — при крупной фигуре имел довольно маленькие руки и ноги и был как-то неустойчив. Помню, как он рассказывал о «самом страшном эпизоде» из своей каменск-уральской жизни. Идя по узким деревянным мосткам, Габричевский оступился и оставил одну галошу в густой непролазной грязи. Он балансировал на одной ноге, пока кто-то не выручил его, подав руку...

Мы иногда занимались у Генриха Густавовича дома, в небольшой комнате на 5-м этаже по улице Пушкина № 9 и часто заставляли там его друга. Оставаясь «попить чайку», мы, зеленая

молодежь, нередко присутствовали и при разговорах двух умнейших и культурнейших людей. Кстати, Генрих Густавович советовал нам походить на лекции А. Г. Габричевского для студентов архитектурного института. Помню несколько из интереснейших занятий по архитектуре Высокого Возрождения с демонстрацией прекрасных цветных репродукций (никаких слайдов тогда не было и в помине!) Счастье, что его друзьям удалось «вытащить» его из Каменск-Уральского...

Летом 1945 года, уже в Москве, я познакомилась ближе и с супругой Александра Георгиевича — Натальей Алексеевной Северцовой, дочерью крупнейшего русского ученого-биолога с мировым именем. Это знакомство произошло после их встречи с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым. Наталья Алексеевна и в 45-м году была в полном смысле слова царицей своего салона в Москве. Именно таким «светским» термином хочется обозначить ту атмосферу, в которую я попала, будучи наивной провинциалкой. Ввел меня туда, конечно, Г. Г. Нейгауз и сам Александр Георгиевич, да и с Натальей Алексеевной я однажды мельком уже встречалась в Свердловске. Это была старинная квартира при университете, которую занимал еще отец Н. А. Северцовой. Вход был с ул. Герцена, через подворотню во внутренний двор, а там по небольшой каменной лестнице — в бельэтаж. (Добавим, что Булгаков размещает персиковский зооинститут на ул. Герцена. — *Авт.*) Помню довольно широкий коридор, из которого было несколько дверей в комнаты. Центром квартиры была большая гостиная с высоким потолком, как во всех старых московских домах, окнами на улицу. В памяти остались огромные книжные шкафы темного дерева (принадлежащие ранее семье Станкевичей, из которой была мать Габричевского), над которыми почти под потолком висели картины — подлинники старых мастеров, итальянских, немецких, голландских и других художников. От длинных темных портьер на высоких окнах, большого круглого стола, покрытого темной бархатной скатертью, кажется, оливково-зеленоватого цвета, старинной мягкой мебели с такой же обивкой в комнате царил приятный мягкий полумрак. Там же стоял отличный рояль и широченная тахта... Быть может, тут бывал и Булгаков... Сохранились очень туманные воспоминания о разговорах, полных ассоциаций, намеков, сарказма и т. п. На таких вечерних собраниях я чувствовала себя скованно, сидела где-нибудь в уголке дивана и впитывала все окружающее, смотрела во все глаза и слушала во все уши. Днем мне дышалось гораздо свободнее: я приходила иногда позаниматься на рояле в пустой квартире. Н. А. всегда приветливо, с каким-то смешком, с юмором «принимала» меня, стараясь чем-то покормить, напоить чайком — время было

голодное, послевоенное. Она была тогда очень красива зрелой русской красотой; если рассматривать детально черты ее лица — они не были правильны или породисты, но могучая, крепкая, сильная русская натура чувствовалась во всем. Одевалась она своеобразно. Говорила всегда очень звучно, громко, ясно (не в пример мужу!), с заметным московским выговором.

Встречалась я несколько раз с Габричевскими и в Коктебеле. Уже в первый мой приезд туда Габричевские, видимо, по просьбе Нейгауза, «ввели» меня в Дом поэта, познакомили с Марией Степановной Волошиной и ее подругой Анной Александровной Кораго, которую там все называли «Анчутой». Мария Степановна, маленькая, легкая, с седой челкой, принимала участие во многих судьбах; может быть, поэтому мне было сразу дано разрешение там заниматься на небольшом кабинетном рояле, стоявшем почти у входа с маленького балкона 2-го этажа в Мастерскую — в те часы, когда многочисленные «жильцы» Дома все расходились — на шпаш, на охоту за знаменитыми коктебельскими камушками, бродить по горам и т. п. Однажды на звуки Шумана (я работала тогда над его «Крейслерианой») поднялся на балкон пожилой человек, который оказался большим любителем и знатоком музыки, что было вовсе не удивительно, т. к. это был большой друг Нейгауза и Габричевских, известный ученый, философ и астроном Валентин Фердинандович Асмус. Сразу пробудилась взаимная симпатия; Валентин Фердинандович пригласил меня присутствовать на ночном «бдении» на крыше Дома Волошина, где у него был устроен ночной наблюдательный пункт, стоял телескоп.

Вскоре после войны Габричевские приобрели в Коктебеле небольшой домик — белую мазанку, которую Наталья Алексеевна сама привела в порядок, обновила и расписала снаружи и внутри фантастическими яркими цветами. Мебели никакой не было, вдоль стен лежали несколько подушек, гости и хозяева полусидели-полулежали на них или прямо на ковре. Во дворе стоял стол, сколоченный из длинных досок, на котором располагалось все летнее немудреное хозяйство. Всегда было много гостей, разнообразного народа, молодежи и более старшего поколения, что нередко приводило хозяйку в тупик: угостить такую компанию в то трудное послевоенное время было не так-то просто.

Позже, с 52-го года у Габричевских был уже другой дом, значительно больший, с садом, с комнатой наверху, где хранились коллекции коктебельских камней, характерных растений, древний пифос и много других редкостей, собранных хозяевами дома. Внизу была открытая веранда с большим столом... Под прямым углом к двухэтажной части дома шел длинный «сарай»,

где были и жилые помещения, и кухня, и мастерская, одновременно и картинная галерея, где висели работы хозяйки — Натальи Алексеевны Северцовой. Уже в немолодом возрасте она страстно занялась живописью, писала маслом весьма своеобразные картины.

Летом 1964 года вместе с мужем доктором В. В. Навроцким мы вновь попали в Планерское.

Этот день трудно забыть — нам удалось побывать в Доме поэта. Мария Степановна, которая уже почти потеряла зрение, вспомнила меня и пригласила нас с мужем присутствовать на чтении Анастасией Цветаевой в Мастерской второй части ее воспоминаний. Анастасия Ивановна Цветаева стояла спиной к окнам, в полосе света, стройная пожилая женщина, и тихим голосом очень внятно читала свои воспоминания о жизни семьи, о Марине... Слушателей было немного, но все «посадочные» места были заняты — длинный диванчик вдоль левой стены от головы Таиах, тихо вносились дополнительные стулья, все сидели не шелохнувшись, боялись проронить хоть слово. Надо понять, что это был 64-й год, когда только начинали проникать «в мир» первые истоки правды о том периоде в жизни России, с которым совпала юность и молодость сестер Цветаевых.

После этого импровизированного литературного собрания, побродив по летнему жаркому Коктебелю, мы вернулись в дом Габричевских, живших рядом и столовавшихся вместе. А в октябре того же года Нейгауза не стало. Через несколько лет, в 68-м году ушел из жизни и А. Г. Габричевский, который умер в Коктебеле, а вслед за ним — в 70-м году и Наталья Алексеевна. Оба они похоронены на кладбище в Планерском, где навсегда остался их образ, духовно воплощенный в их доме, любовно оберегаемом Ольгой Сергеевной Северцовой».

Конечно, уже никто не воссоздаст подробности бесед между А. Г. Габричевским и М. А. Булгаковым. Однако заметки И. В. Шумской, думается нам, дополняют неизвестными штрихами образ одного из последних отечественных энциклопедистов, раскрывая то, что могло привлечь Михаила Афанасьевича в этом человеке.

А вот слова Л. Е. Белозерской о Наталье Габричевской: «Внешность у нее броская; кожа гладкая, загорелая, цвет лица прекрасный, глаза большие, выпуклые, брови выписанные, на голове яркая повязка...»

Насколько точен этот портрет, убеждаешься, глядя на воспроизводимую на страницах нашей книги фотографию Наталии Алексеевны. Она была подарена О. С. Северцовой летом 1991 года И. В. Шумской и В. В. Навроцкому. Ею же переданы им и другие семейные реликвии.

Судя по всему, фотография Наталии Алексеевны сделана в 1925 году на балконе дома Волошина. Красоту и обаяние Н. А. Габричевской отмечает в своих воспоминаниях «Лето в Коктебеле» (1924) и художник А. П. Остроумова-Лебедева: «Написала очаровательную Наташу Габричевскую. Она сидит на берегу на камне, в купальном костюме, загорелая, цветущая, на фоне моря и скал Карадага».

Но дело, конечно, не только во внешности. Вернемся к строкам Л. Е. Белозерской. «Недавно (март 1968 года) я побывала на выставке ее картин. Как это не звучит странно, но уже в пожилом возрасте у нее (Н. А. Габричевской. — *Авт.*) «прорезался» талант художника. Я смело могу сказать это ответственное слово потому, что ее рисунки действительно талантливы — очень сатирические, написанные в стиле декоративного примитива».

Добавим, что художественное дарование было дано Н. А. Габричевской с молодости. Просто в силу избранного ею самобытного стиля самовыражения и тематики картин (например, церковь и современность) ее работы официально не признавались и, естественно, не выставлялись. Их можно увидеть лишь в сохранившемся донныне интерьере домашнего музея О. С. Северцевой, где впечатляют и собранные Габричевскими предметы быта и утвари, старинная мебель. Здесь оживает дух волошинской эпохи.

«Как-то Максимилиан Александрович подошел к М. А. и сказал, что с ним хочет познакомиться писатель Александр Грин, живший тогда в Феодосии, и появится он в Коктебеле в такой-то день,— продолжает Л. Е. Белозерская. — И вот пришел бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, в белой фуражке, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были темные, невеселые, похожие на глаза Маяковского. Да и тяжелыми чертами лица он напоминал поэта.

С ним пришла очень привлекательная вальяжная русская женщина в светлом кружевном шарфе. Грин представил ее как жену. Разговор, насколько я помню, не очень-то клеился... Я с любопытством разглядывала загорелого «капитана» и думала: вот истинно нет пророка в своем отечестве. Передо мной писатель-колдун, творчество которого напоено ароматом далеких таинственных стран. Явление вообще в нашей «оседлой» литературе заманчивое и редкое, а истинного признания и удачи ему в те годы не было.

Мы пошли проводить эту пару. Они уходили рано, т. к. шли пешком. На прощание Александр Степанович улыбнулся своей хорошей улыбкой и пригласил к себе в гости.

— Мы вас вкусными пирожками угостим.

И вальяжная подтвердила:

— Обязательно угостим.

Но мы так и уехали, не повидав вторично Грина...»

«А истинного признания не было». Мы предполагаем, что Л. Е. Белозерская, поскольку записи ее относятся к послекоктебельским годам и являются, по сути, ретроспективой, говорит скорее о предстоящих неудачах Грина. 1925-й сложился для него очень плодотворным — его роман «Золотая цепь» был опубликован дважды (в журнале «Новый мир» и издательстве «Пролетарий»). Ранее журнал «Красная новь» напечатал роман «Блещающий мир» (о летающем человеке Друде!). Всего же за шесть феодосийских лет Александр Степанович написал четыре романа, две повести, около сорока рассказов и новелл. Его охотно печатали, планировалось издание пятнадцатитомного собрания сочинений. Требования РАППа изменить творческий метод, фактический запрет публикаций, изъятие книг наступят позже. А в описываемое лето это был один из известных литераторов, писатель в расцвете сил, живший наконец-то в приличной квартире с кабинетом.

Грина заинтересовало творчество и личность Булгакова, он специально пришел для встречи в Коктебель. Но какой-то барьер встал между ними. Находясь в Феодосии рядом с домом Гринов, Булгаковы так и не зашли к ним...

Следует отметить наблюдательность Л. Е. Белозерской. На фотографии 1925 года, подаренной В. В. Навроцкому феодосийским Музеем А. С. Грина, чета Гринов предстает именно в таких костюмах. О некоторой чопорности писателя упоминает и старожил Феодосии А. Ермолинский. По воспоминаниям Н. Н. Грин, «Александр Степанович не выносил курортной раздотости... Когда мы ездили в Коктебель к М. А. Волошину, с которым он был знаком еще по Ленинграду, Александр Степанович особенно подтягивался и меня просил надеть строгое платье».

Но это кажущаяся суровость. Когда он видел детей, то преображался. Вот строки воспоминаний М. В. Шемплинской об играх Грина с ее полуторагодовой дочерью. Это происходило в 1929 году в Старом Крыму. «Он падал, вытанувшись во весь свой высокий рост, а она, садясь к нему на спину верхом, кричала «Но!» До чего же хороша была в нем эта детски-доверчивая улыбка!» Этот эпизод напоминает нам детский «золотой ключик», присущий Булгакову.

Хорошую улыбку А. С. Грина отмечает и Л. Е. Белозерская.

Описывая встречу с Гринами, Любовь Евгеньевна дважды использует термин «валяжная», что по словарю В. И. Даля истолковывается как полновесная, красивая, прочно сделанная. И вот в 1964 году В. В. Навроцкому довелось встретиться с

Ниней Николаевной Грин. Это произошло в Старом Крыму, куда Грины переехали в 1930-м и где за два месяца до смерти писателя в обмен на золотые часы они приобрели маленький саманный, с земляным полом, домик. Когда-то Грин писал Нине Николаевне Мироновой: «Ты дала мне столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни... Я стою, как в цветах и в волнах, а над головой птичья стая...»

Посетителя встретила скромно одетая, подтянутая пожилая женщина. Она охотно показала ему маленькую, бедно обставленную, но опрятную комнату с застеленной белым кроватью («на ней умер А. С.») и, узнав, что В. В. Навроцкий врач, рассказала об ошибочном диагнозе лечивших писателя докторов. Поделилась своей мечтой открыть в этом домике музей... Обращали на себя внимание ее тихий голос, сдержанная манера поведения. Какая-то скованность, недоговоренность.

Следующий визит их сблизил. В тот вечер она поведала об аресте, суде в Симферополе в 1946 году и приговоре к десяти годам заключения. Нина Николаевна в общих чертах рассказала о нелепости этих обвинений. Все ее попытки добиться реабилитации после десяти лет, проведенных в тюрьме, оказались тщетными. Бесплезны были и обращения в Союз писателей. Нина Николаевна умерла в 1970 году, так и не дождавшись открытия музея...

То был откровенный разговор — исповедь была необходима Нине Николаевне, поскольку, вероятно, никто не хотел ее слушать и все отмахивались от заявлений о пересмотре дела. Такова судьба спутницы А. С. Грина — привлекательной русой женщины в светлом кружевном шарфе, какой она запомнилась Л. Е. Белозерской. Нам не дано предугадать...

Кроме А. Г. и Н. А. Габричевских, Л. М. Леонова, Ю. Л. Слезкина, Г. А. Шенгели и Н. Л. Манухиной, упоминаемых Любовью Евгеньевной, в Коктебеле в те дни находились актриса В. Я. Эфрон с сыном, писательница З. Ф. Федорченко и ее муж Н. П. Ракицкий, художница А. И. Ходасевич, пианистка М. А. Пазухина, литературовед и переводчик Б. И. Ярхо.

Специалист по античной и средневековой поэзии, Борис Исаакович Ярхо поражал огромной эрудицией и одновременно отрешенностью от житейских нужд. Как предполагает М. О. Чудакова, Б. И. Ярхо стал прототипом Феси в ранней редакции «Мастера и Маргариты». Быть может, этому способствовали коктебельские впечатления Михаила Афанасьевича.

Булгакова, несомненно, не могла оставить равнодушным колоритная личность автора нескольких стихотворных сборников, поэта большой культуры Георгия Аркадьевича Шенгели — соседа по уютному прохладному дальнему дому Юнге в глубине

волошинской усадьбы. Возможно, в Коктебеле Михаил Афанасьевич услышал в авторском чтении (по традиции волошинского Дома) строфы из «Державина». В них отчетливо предстал лицеист Пушкин...

Он очень стар. У впалого виска
Так хладно седина белеет,
И дряхлая усталая рука
Пером усталым не владеет.

Вот и вчера, сияют ордена,
Синеют и алеют ленты,
И в том дворце, где меджила
она,
Мелькают шумные студенты.

И юноша, волнуясь и летя,
Лицом сверкая обезьяньим,
Державина, беспечно, как дитя,
Обидел щедрым подаяньем...

В небольшом стихотворении была по-своему спрессована известная драма.

А в 1935-м Михаил Афанасьевич, возможно, обратил внимание на поэтическую миниатюру Шенгели «Планер» — о Коктебеле, о незабвенном Волошине. Все было в прошлом и все так дорого сердцу...

Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.

Именно над могилами
Тех, кто верил химерам,
Скрипками однокрыльями
Надо парить планерам.

Там, где камни ощерились,
Помнящие Гомера,
Надо, чтоб мальчики мерялись
Дерзостью глазомера...

Иначе требовать не с кого,
Иначе не нужны нам,
Радуги Богаевского,
Марева по долинам.

«Планер» ассоциировался с коктебельской космической достопримечательностью — восходящими воздушными пото-

ками в районе холмов Узун-Сырта. О редком природном феномене Булгаков мог слышать от Волошина (однажды невидимые атмосферные струи вдруг подняли вверх без всяких внешних усилий шляпу поэта и несколько минут кружили ее). Этой таинственной подъемной силой позже овладела Маргарита: «Она подпрыгнула в воздухе...» «Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко».

Скалистые цепи и причудливые гроты — «Каменные кулисы», «Сфинкса», гору Кок-Кая — Булгаков, не очень любивший горные восхождения, видел, в основном, с моря, проходя мимо них на парусной шлюпке. Обитатели волошинского дома, как правило, пользовались вместительной шлюпкой «Орлик». Но сами эти очертания, думается, приворожили его. Тут нельзя не вернуться вновь к Волошину и к его статье о культуре, искусстве и памятниках Крыма, открывающей внимательно прочитанный Булгаковым путеводитель И. М. Саркизова-Серазини. «Под пестрым и терпимым покровом Ислама расцветает собственная подлинная культура Крыма. Вся страна от Меотийских болот до южного побережья превращается в один сплошной сад: степи цветут фруктовыми деревьями, горы — виноградниками, гавани — фелюгами, города журчат фонтанами и бьют в небо белыми минаретами», — пишет в романтических тонах Волошин. «Ни в одной стране Европы не встретишь такого количества пейзажей, разнообразных по духу и стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму. Курганы и сопки Босфора Киммерийского; соленые озера и выветренные коридоры Опук (вспомним булгаковский «коридор тысячелетий». — *Авт.*); оранжевые отмели широких дуг феодосийского залива; Феодосия с черным кремлем генуэзских укреплений; Судак с его романтической крепостью; Новый Свет — извилистый и глубокий... А дальше линия берега, развиваясь и меняясь с каждым новым мысом и заливом, идет вдоль берегов Готии до низких отрывистых террас, на которых громоздятся развалины Херсонеса». Вновь возникает ассоциация с булгаковским дальновидением: «...и Херсонес, и дальше море...»

Подчеркнем, что восторженное описание Крыма, данное Волошиным, не прошло мимо дальнейших планов и путешествий Михаила Афанасьевича. Собственно, Булгаков последовательно осваивал Крым в соответствии с рекомендациями Волошина. Он видит Коктебель и Феодосию, совершает путешествие на моторной лодке от Судака до Ялты, а потом по извилистым серпантинам шоссейной дороги мимо отвесных стен Ай-Петри, Чертовой лестницы, Байдар... Севастопольской бухте суждено было стать последним обрывом, за которым

начался трагический бег его героев, тоскующих на чужбине о снеге на улицах Петербурга.

Но возвратимся в Коктебель. 16 июня 1925 года Михаил Афанасьевич читал обитателям волошинского дома «Собачье сердце». Об этом, как указывает В. Купченко и З. Давыдов, есть упоминание в письме Марии Александровны Пазухиной. Ясно, что он почувствовал себя здесь в доверительной обстановке... Чтения проходили под луной, а большую часть дня Михаил Афанасьевич проводил на берегу. Особую симпатию у него вызывал полуторогодовалый сын М. А. Пазухиной Вадим. Между Булгаковым и окружавшими его детьми всегда возникала обоюдная симпатия. В письме мужу, датированном 25 июня, М. А. Пазухина писала: «Твой Дым здесь сделался положительно приятелем всех писателей... Особенный любимец он у писателя Булгакова и его жены. Она мне как-то на днях при встрече сказала, что влюблена в моего Дыма, он сам подолгу забавляется с ним на берегу, они там кувыркаются, тот встает вниз головой. Дым ему подражает, чем очень потешает всех; а сегодня Булгаков встретил его приветствием: «Здравствуй, красавец мой неописуемый».

Мария Александровна как-то заметила Михаилу Афанасьевичу: «Я скажу вам вот что, — у Вас большая потребность иметь собственного сына, и Вы будете очень хорошим отцом». Он ответил задумчиво: «Вы это сказали, наверное, по поводу Дымка. Нет, я и так хотел бы иметь, если бы знал, что он будет здоровый и умный... Ну, а Дымулю вашего я, в частности, страшно люблю. Это удивительный мальчик, с такой лукавой улыбкой — иногда даже кажется, что он обдумывает диссертацию, и страшно занятый мальчик, и страшно симпатичный». Невольно вспоминаются слова А. П. Чехова, сказанные им писателю Евгению Чирикову: «Я страшно люблю детей. Пришлите мне фотографию ребятшек. У меня — целая коллекция...»

По воспоминаниям Нины Леонтьевны Манухиной, Булгаков был режиссером одной из театрализованных шарад, ставившихся в Доме поэта. Кстати, постановкой подобных любительских спектаклей Михаил Афанасьевич увлекался еще в юности, в родительском доме. Темой шарады было выбрано слово «науходносор». Первые слоги «на в ухо!» раскрывались сценкой воображаемой попойки и драки. Потом обыгрывалось слово «донос»... Сценка разыгрывалась в духе шуточного «обормотства», принятого в Коктебеле, но стоит напомнить, что целью первоначальных розыгрышей и мистификаций было желание Волошина облегчить угнетенное состояние семьи Сергея Эфрона, будущего мужа Марины Цветаевой. Вера, Елизавета и Сергей Эфроны приехали в Коктебель летом 1911

года после несчастья — смерти их тринадцатилетнего брата Константина. «Оборотство» и стало одним из средств морального исцеления юных Эфронов. Не исключено, что Вера Яковлевна Эфрон, возможно, участвовавшая в булгаковском спектакле, рассказывала Михаилу Афанасьевичу о Сергее Эфроне и Марине Цветаевой.

Но как выглядели такие действия, собиравшие обычно 300—400 человек? Снимок, сделанный в 1926 году, вводит нас в атмосферу, полную импровизации и непринужденности. Спектакль назывался «Путиами Макса». Среди его участников и А. Г. Габричевский.

Булгаковы бывали и на музыкальных вечерах, устраивавшихся в Доме поэта. Юрист их Харькова П. Ф. Домрачев играл на скрипке, М. А. Пазухина — на рояле. Очевидно, музицировал и Михаил Афанасьевич, ведь музыку он страстно любил — об этом свидетельствуют хотя бы недавно найденные ноты с его пометками. «Сам Булгаков тоже играет на рояле», — вспоминала Мария Александровна. Добавим, что в гимназические и студенческие годы Михаил Афанасьевич играл на пианино увертюры и сцены из своих любимых опер — «Фауста», «Травиаты», «Руслана и Людмилы», «Аиды», «Севильского цирюльника», «Тангейзера».

Характерно, что М. А. Пазухина ощутила на себе проницательность Булгакова-врача. Дело в том, что блестящая музыкальная карьера Марии Александровны в свое время оборвалась из-за мышечного ревматизма рук. Несколько лет она вообще не играла. В Коктебеле ей помогли климат, море, нравственная обстановка, и она вновь заиграла в полную силу своего таланта. По каким-то видимым только ему нюансам Булгаков поразительно точно обрисовал предысторию нынешнего состояния Пазухиной и предсказал, что в музыке она сможет дать еще очень много. Слова эти окрылили ее. Он «...говорил прямо изумительные вещи», — вспоминала Мария Александровна.

Любопытен и такой эпизод. Писательница Софья Захаровна Федорченко, автор знаменитой книги «Народ на войне», страдала от неврастении, отсутствия аппетита, ее состояние удручало и мужа — Николая Петровича Ракицкого, ученого-агронома, с которым Михаил Афанасьевич был знаком еще со времен службы на Смоленщине. Быть может, по его просьбе Булгаков, рекомендованный С. З. Федорченко как врач, применил такой прием. С продуктами в Коктебеле было трудно. Фруктов — изобилие, а из остального — обычно баранина и рис. Обеды готовила местная жительница Олимпиада Никитична, запомнившаяся поколениям коктебельцев. Булгакова она особенно жаловала. Предварительно осведомившись о меню, Булгаков

приходил к Федорченко, проводил осмотр, изучал пульс и давал соответствующие рекомендации: «Сегодня к завтраку я советую... К обеду... Ну, а на ужин, пожалуй...» Софья Захаровна начала выздоравливать...

С Софьей Федорченко Булгаков был, очевидно, знаком по «Никитинским субботникам», в которых писательница активно участвовала. Ее небольшая книжка «Народ на войне» с подзаголовком «Фронтовые записи» вышла в Киеве в 1917 году. В предисловии она писала, что находилась на фронте в качестве сестры милосердия, а позже вспоминала: «Проделала наступления и отступления, видала и победы, и поражения. Все было одинаково ужасно и непоправимо». Книга ее несколько раз переиздавалась, в том числе в издательстве «Новая Москва» под редакцией Н. С. Ангарского. С одобрением отозвался о книге М. А. Волошин в письме к В. В. Вересаеву: «Что меня обрадовало чрезвычайно — это полученная на днях книга (II изд.) Федорченко. Я прочитал ее с упоением. На мой взгляд, она имеет не только исторически-документальное значение, но это и художественный этап русской прозы». У автора «Белой гвардии», заявившего о себе как о военном писателе, конечно же, были общие темы для бесед с автором одной и значительных книг о первой мировой войне.

С. В. Федорченко с мужем Н. П. Ракицким жили в Москве в подвале толстовского музея. «Это в пяти минутах от нашего дома,— пишет Л. Е. Белозерская, и мы иногда заходили к ним на чашку чая. На память приходит один вечер. ...За столом сидел смугло-матовый темноволосый молодой человек». Это был Б. Л. Пастернак. Так произошло знакомство с поэтом. В тот вечер он читал свои стихи.

Остаются считанными дни в Крыму. 26 июня в Коктебель приехали художница, ученица И. Е. Репина, Анна Петровна Остроумова-Лебедева и ее муж, известный химик, создатель искусственного каучука Сергей Васильевич Лебедев. Анна Петровна сразу же принимается за портрет Булгакова акварелью «в шапочке с голубой оторочкой, на которой нашиты коктебельские камешки (подарок Марии Степановны)». Портрет этот долгое время висел в Москве в кабинете Булгакова.

Близится отъезд. 5 июля Волошин дарит Булгакову сборник своих стихов с дарственной надписью. А 7 июля Любовь Евгеньевна и Михаил Афанасьевич покидают Коктебель и в тот же день отплывают от причала феодосийского порта. «Снова Феодосия,— пишет Л. Е. Белозерская. — До отхода парохода мы пошли в музей Айвазовского, и оба удивились, что он был таким прекрасным портретистом...» Пожалуй, перед нами одно из немногих отражений художественных предпочтений Михаила

Афанасьевича. Хотелось выяснить — какие портреты могли тогда увидеть супруги. Уточнить это помог случай. В феврале 1992 года один из ялтинских коллекционеров подарил В. В. Навроцкому книжку Н. С. Барсамова «Художники Феодосии» (1928). Н. С. Барсамов возглавлял Музей-галерею И. К. Айвазовского с 1922 по 1962 год и был редким ее знатоком. В конце издания имелся каталог собрания картин, где упоминались и пять портретов работы И. К. Айвазовского.

В галерее хранятся эти портреты: отца художника (1859), матери (1849), сестры (1858), А. И. Казначеева (1847) — феодосийского градоначальника, введшего юного армянина в свою семью и определившего его в гимназию и в Академию художеств, и автопортрет (1889). Стоит сказать и о малоизвестном групповом портрете: художник сидит спиной к зрителю среди «отцов города». Работники музея не знали, что М. А. Булгакова привлекли именно эти полотна. Репродукции их представлены в книге.

Вечером на пароходе «Игнатий Сергеев» (это точное название подсказала двоюродная племянница Волошина Т. Шмелева) Булгаковы тронулись в путь. «Качает» — так называется очерк Булгакова об этом путешествии, где он описывает «морскую болезнь», которая поначалу изрядно испортила благословенные коктебельские впечатления.

«Пароход „Игнат Сергеев“, однотрубный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару — в два часа дня... Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны кают-компания, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало...

„Игнат“, простояв около часа, выбросил таблицу „отход в 5 ч. 20 мин.“ и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторы подуло свежестью...

Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко...

— Качает! — весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивающая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула, как куль на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз... Волна шла (издали, из Феодосии, море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с

хорошую футбольную площадку, порою с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под „Игната“, и нос его лез... ле-ез... ох... ох... вверх... вниз...

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг, сердитый и чернеющий в тумане, и где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.

Пробовал смотреть в небо — плохо, на горы — еще хуже. О волне — нечего и говорить...»

О том, что Булгаков не переносил волнения моря, пишет и Л. Е. Белозерская: «Он повернул ко мне несчастное лицо».

Когда пароход, наконец, подошел к Ялте, она была вся в огнях. «В кают-компании дают полный свет,— пишет Булгаков. — Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножия их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное урчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей».

Но как выглядел «Игнатий Сергеев»? Поиском фотографии В. В. Навроцкий занимался около двух лет. И вот в августе 1991 года такую редкую открытку ему подарил феодосийский коллекционер Ю. Ф. Коломийченко. Вглядываясь в снимок, отмечаешь детали эпохи: дамы в мехах, авто на пристани. Не менее ценным подарком Юрия Федоровича является и открытка, на которой изображен дом в Ялте, где Булгаковы останавливались в 1927 году.

В черновом варианте «Мастера и Маргариты» Булгаков обрисовал город, в котором предстает Ялта, какой она открылась перед ним с борта «Игнатия Сергеева»:

«...Перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом низко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов и чуть слышную бензиновую гарь...»

Так промелькнул Коктебель. 26 ноября 1925 года в письме к С. З. Федорченко М. А. Волошин спрашивает: «Видаете ли Вы наших летних друзей: Леоновых, Булгаковых?» 1 марта 1926 года в Москве в помещении Государственной академии художественных наук состоялся вечер «с благотворительной целью для помощи Волошину». Среди выступающих были В. В. Вересаев, Б. Л. Пастернак, П. Г. Антокольский, Ю. Л. Слезкин, С. В. Шервинский. М. А. Булгаков прочел по рукописи «Похождения Чичикова»... Собрали 470 рублей. Благодаря за вечер, Максимилиан Александрович уведомлял Н. А. Габричевскую: «Все деньги мы, конечно, честно употребим только на ремонт дома». Можно предполагать, что среди устроителей вечера был А. Г. Габричевский.

Очевидно, именно Габричевские были особенно близки с Волошиным — и в радостные, и в трудные минуты. Приведем документ, свидетельствующий о том, что, когда «волошинская республика» начала подвергаться притеснениям, Александр Георгиевич и Наталия Алексеевна попытались предпринять ответные меры. Это «Подписка» — петиция к правительству, которую и сегодня можно увидеть в Доме поэта.

«Мы нижеподписавшиеся, жившие в „Волошинской даче“, удостоверяем, что гр. Волошин своей дачи коммерчески не эксплуатирует, а предоставляет ее целиком работникам искусства и науки для летнего отдыха совершенно бесплатно.

О. К. Толстая, сотрудница издательства Л. Н. Толстого, проживала в 1924—1926 годах, С. А. Есенина, вдова поэта Есенина, внучка Льва Толстого, сотрудница музея Всероссийского Союза писателей, проживала в 1923 и 1926 годах, А. Г. Габричевский, профессор I-го МГУ и ВХУТЕМАС, директор института археологии и искусствоведения РАНИИ, член правления и зав. отделом Академии художественных наук, проживал летом в 1924—1926 годах, Н. А. Габричевская, дочь академика А. Н. Серверцова, проживала летом в 1924—1926 годах».

4 апреля Волошин пишет Булгакову: «Михаил Афанасьевич, не забудьте, что Коктебель и волошинский дом существуют и Вас ждут летом... Заранее прошу: привезите с собой конец «Белой гвардии», которой знаю только 1 и 2 части, и продолжение «Роковых яиц». Надо ли говорить, что очень ждем Вас и Любовь Евгеньевну и очень любим...» Как перекликается это письмо со словами первоначального обращения Волошина «Привезите все вами написанное (и напечатанное и ненапечатанное)». Можно сделать вывод, что у Булгакова были планы продолжения не только «Белой гвардии», но и «Роковых яиц».

3 мая Михаил Афанасьевич ответил Максимилиану Александровичу: «...Спасибо за то, что не забыли нас. Мечтаем о юге». Но побывать в Коктебеле еще раз ему так и не пришлось. Тем не менее, Булгаков и Волошин виделись в Москве в начале 1927 года, когда М. А. и М. С. Волошины 16 февраля смотрели «Зойкину квартиру», а 25 февраля «Дни Турбиных».

В Малом Левшинском переулке 26 февраля состоялось открытие выставки акварелей Волошина в Академии художественных наук, и, очевидно, Михаил Афанасьевич посетил ее. 1 и 12 марта Волошины навестили Булгаковых.

«В этом году исполняется десять лет, как я начал заниматься литературной работой в СССР,— писал Булгаков в обращении к властям летом 1929-го, спустя четыре года после пребывания в Коктебеле. — Ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведение или пьеса, не только никогда и нигде

И. М. А. Булгаков. Фотография 1926 г.



Путешествие по Крыму.

(Окончание).

«У Антона Павловича Чехова».

В верхней Ауте, врезанной кривыми узенькими улочками, видраются в самое небо, среди татарских лаченок и белых скачковых дач, каменная белозатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди булыжно разросшегося сада дом с неземным идеальным чистотой и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонит, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама очень вежливая и приветливая. Это — Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь. В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе еще урантов, устала и нас возмездно по дому какая-то другая поглядывающая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видно, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, плавно. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девятидесятых годов — живой, со смешливыми глазами «Таким приехал сюда». На другом — в сети ворши. Картина — печальная женщина и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

— Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него идеальны многие: Булгаков, Вереслав, Кудряв, Шалапин и Художественного театра актеры приезжали в этот район.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут: Станиславский и Шалапин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись — вещь никому ненужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвед взгляд к небу. Подпись:

«И у журавлей, пода, бытуют семейные неприятности... Кра...»

Верхнее окно в трехстворчатом окне светит; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом белоснежный диван, над ним картина Левитана: Зелень и река — русский пейзаж, густое масло. Густо и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из двери письменный стол. На нем в скучном немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г. и в мае же уехал за границу умирать.

— В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Придет, читает, а потом свистит: «Ну как вы выходите, Антон Павлович?»

А тот был очень деловитый, совестился сказать что — груда Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо... Работайте! Не то, что Шалапин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет и артистом вы быть не можете.»

В спальне на столе порошок фенацетина — не успел его принять Чехов — и его

рукой написано «heval»... и слово оборвано.

Здесь свеча под зеленым козлаком и стоит толстый крашый шкаф — мать подарил Чехову. Его семья называли насмешливо «вып многоуважаемый шкаф» а потом он стал «миссисажом» в «Винном саду».

На автомобиле до Севастополя.

Если придется ехать на автомобиле по Ялте и Севастополю, да сохранил его небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурса. Я пожелал сэкономить два рубля в «экономике». Обращаясь к какому-то артилу шоферов у Крымкурса место до Севастополя стоит 10 руб., а у артил 8.

Бойкая личность в контуре артил, личностности лица и сардонически жесткая, в разговоре с артилом сказала, что в машине не едет она, человек. Когда спросил на другой день, дали ли эту машину, — артил. Сказать какой это фирмы машина не может, но артил специалист, все в ней не было двух частей, а одной и той же фирмы, но в ней было с разными. Правильно колесо было «Мерседес» (переносное), да задних колес «Пеука», мотор форвардский, кузов тоже имеет какой! Вероятно, это русский. Из это разговорных размеров — артил-то артил.

Все это громадное, светелое, в передних колесах были не просто вперед, а «разез-женые», как говорят.

И протестовать тогда и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, а машину не каки не каки.

Видно, протестовать не удалось, улыбаются и уезжают, а артил машина в Крыму по своей неграмотности. И, оми того, поехали, поехали, не вить, а 11 чело

Миланские Сербские

перешли обаяно — там в музей

2. «Путешествие по Крыму» Булгакова, первая публикация («Вечерняя Красная газета», Ленинград, 1925).

3. Феодосия, железнодорожный вокзал. С открытки начала XX в. (Из коллекции В. Навроцкого).





10. Акварель М. Волошина, 1925 г. На обороте — дарственная надпись: «Наташе Габричевской.

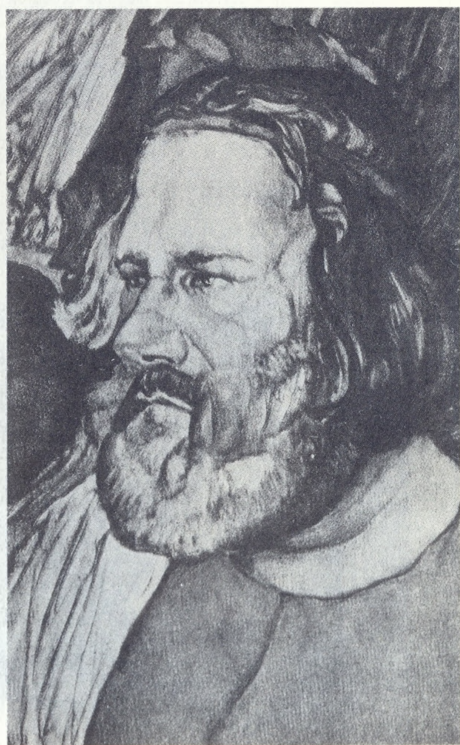
Если б гримасы и смех не мutilи Юнонова лица —
Ужас ее красоты стал бы для глаз нестерпим».

11. Участники спектакля «Путиами Макса, или Саша-Паша», Коктебель, 1926 г. В центре вверху — А. Габричевский в роли Паши; во втором ряду вторая справа — Н. Габричевская. (Фотография из архива О. Северцовой).





12. А. Габричевский работает над скульптурным портретом М. Волошина. Крым, дата не установлена. (Фотография из архива О. Северцовой. Публикуется впервые).



13. Портрет М. Волошина работы А. Габричевской. 1926.



14. М. Булгаков, Л. Белозерская и «настоящий лучший друг» семьи Булгаковых Н. Лямин, 1926.

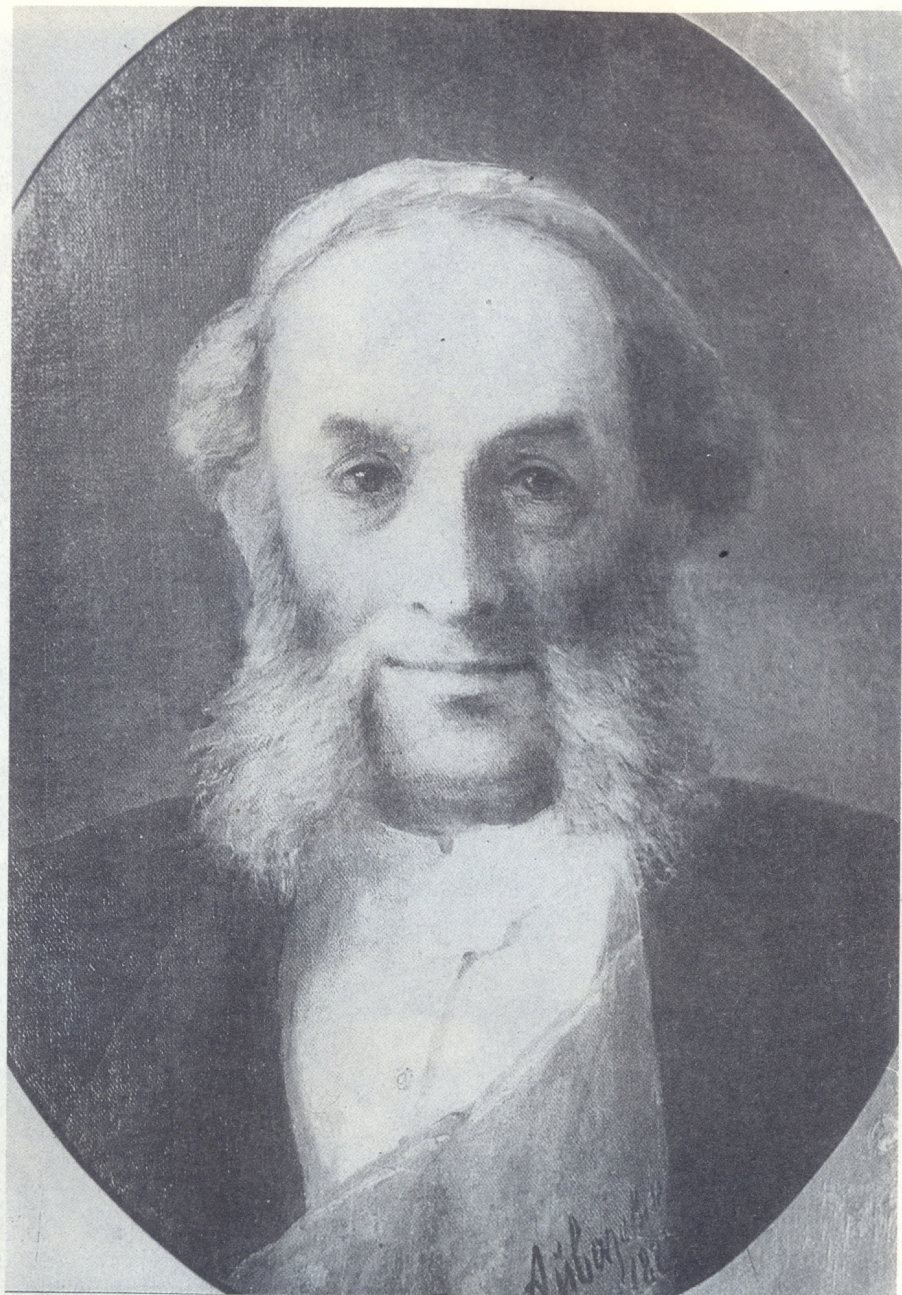


15. А. Грин с женой Н. Грин. Феодосия, 1927 г. (Фотография из архива Музея А. Грина в Феодосии).

16. А. Грин. Феодосия, 1925. →

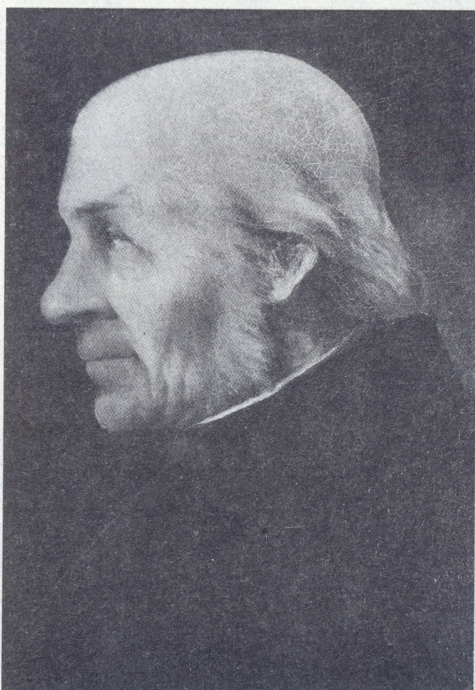


19. М. А. Александрович, доктор наук
и профессор, член-корреспондент
Академии наук СССР, член Президиума
Академии наук СССР.

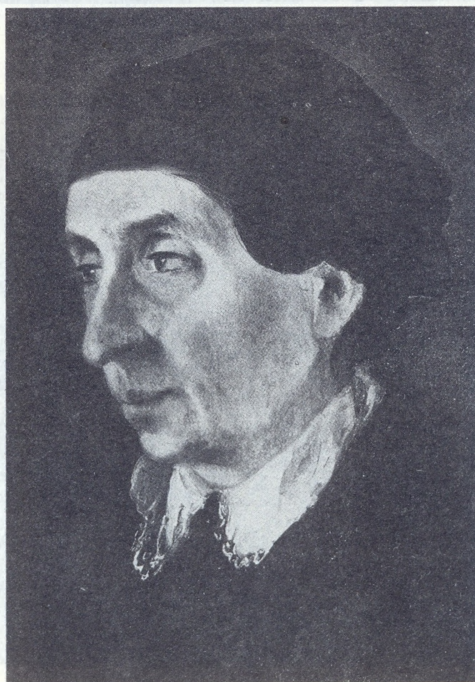


17. И. Айвазовский. Автопортрет. 1889. Феодосийская картинная галерея.

18. И. Айвазовский. Портрет отца художника. 1859. Феодосийская картинная галерея.



19. И. Айвазовский. Портрет матери художника. 1849. Феодосийская картинная галерея.

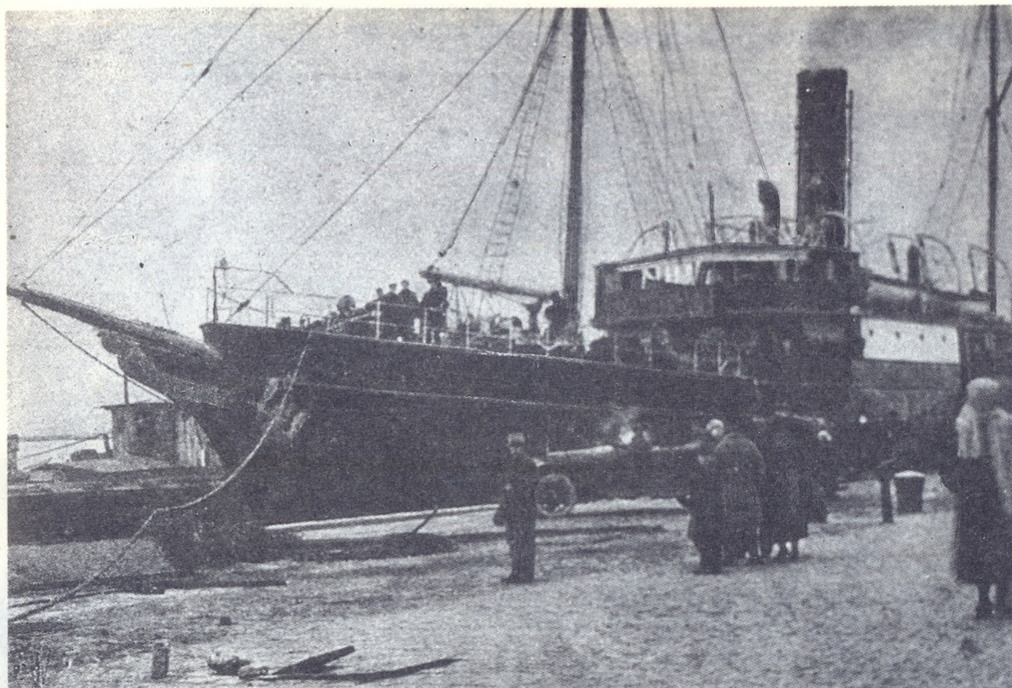


20. И. Айвазовский. Портрет
градоначальника Феодосии
Казначеева. 1847. Феодо-
сийская картинная галерея.



21. Ялта. Морской вокзал.

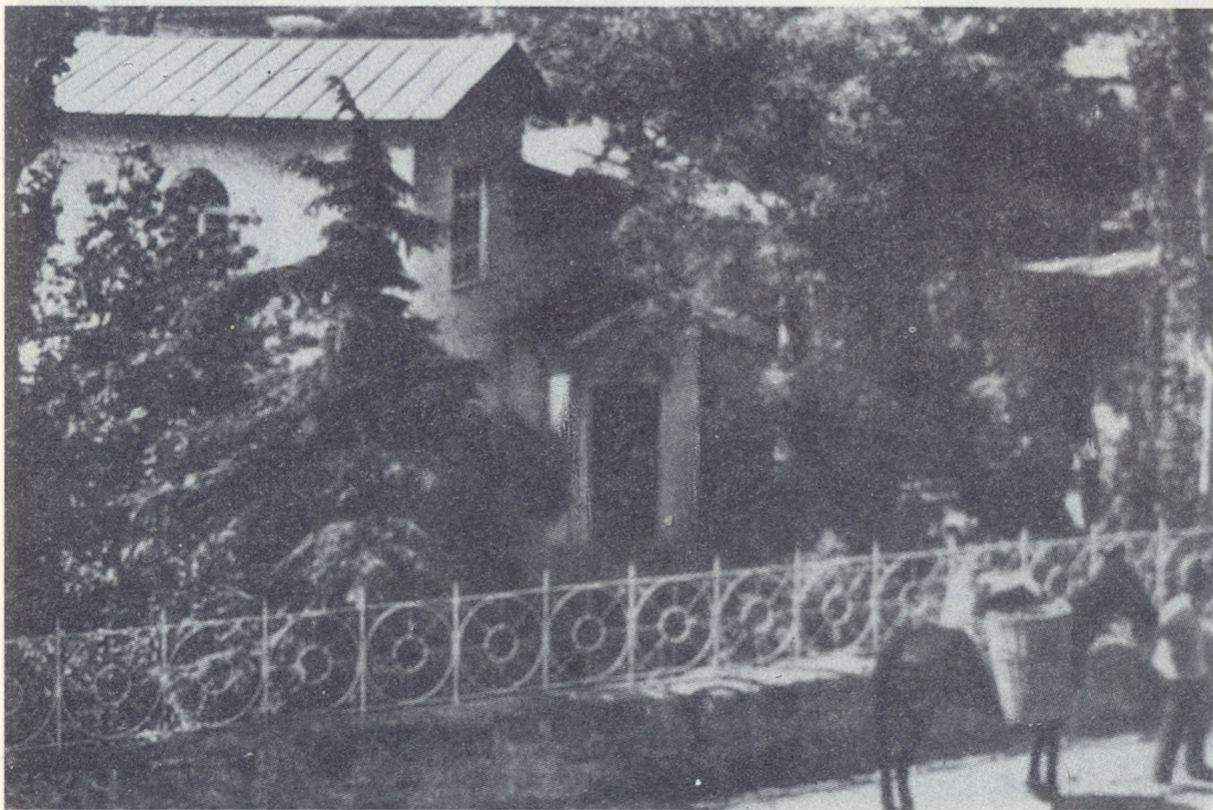




22. Пароход «Игнатий Сергеев». (Фотография из коллекции В. Навроцкого. Публикуется впервые).

23. Ялта, гостиница «Россия». С открытки начала XX в. (Из коллекции В. Навроцкого).





24. Ялта, дом А. П. Чехова. (С фотографии 1920-х гг. из коллекции В. Нарвоцкого).

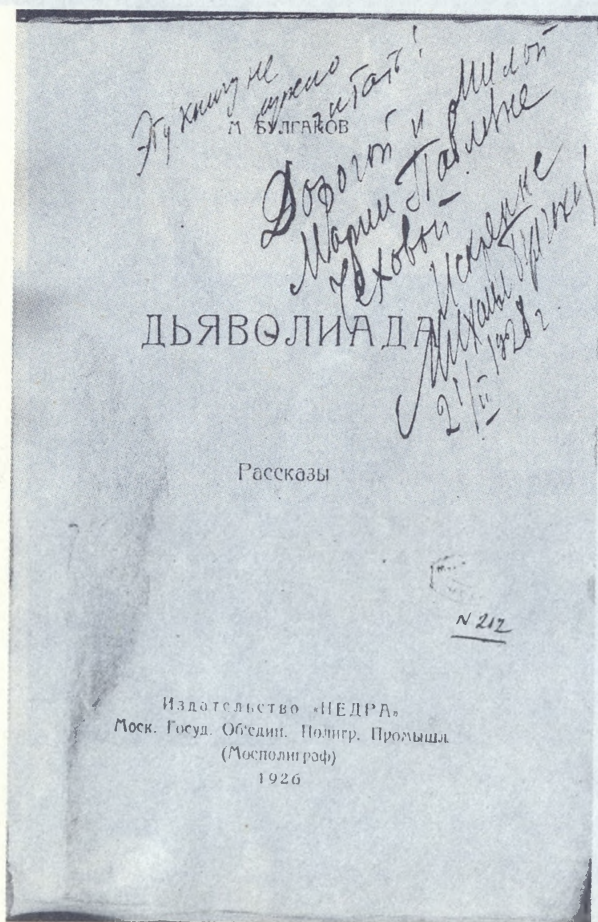
26. Дом А. П. Чехова в Ялте, комната Марии Павловны (здесь Булгаков в 1927 году читал чеховские письма).





25. Мария Павловна и Михаил Павлович Чеховы в саду «Белой дачи», Ялта, конец 1920-х гг.

Напрасно вы надеетесь, дорогая
 Мария Павловна, что я умру по
 дороге! Я не умру и вернусь! Я пишу
 за обещанным Вами письмом. Ян-
 тоны Павловича!
 13-го мая 1927 г.
 Аутка



27. Автограф Булгакова в альбоме М. П. Чеховой (мемориальный фонд Дома-музея А. П. Чехова в Ялте): «Напрасно вы надеетесь, дорогая Мария Павловна, что я „умру по дороге“. Я не умру и вернусь в Ялту за обещанным Вами письмом Антона Павловича!

М. Булгаков.
 13-го мая 1927 г.
 Аутка».

28. Автограф Булгакова на книге «Дьяволиада» (мемориальный фонд Дома Дома-музея А. П. Чехова в Ялте): «Дорогой и милой Марии Павловне Чеховой. Искренне Михаил Булгаков
 21/II 1928 г.»

не получило ни одного одобрительного отзыва, но напротив, чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростнее становились отзывы прессы, принявшие наконец характер некоторой брани... Силы мои надломились...»

Коктебель, дом на берегу залива, мелодии цикад, степной воздух, ласковое море — быть может, первый спасительный якорь в изнурительном шторме трудного десятилетия, в череде надежд и разочарований. О, как далеко и как близко чудесное лето, подаренное Михаилу Афанасьевичу.

Точно гроздь лиловых
Бледных глициний
Расцветает утро—

писал Максимилиан Волошин о Коктебеле. Вдохнуть этот живительный воздух, всмотреться в восходы и закаты Киммерии было дано и Булгакову. Спасибо тебе, Коктебель!

Глава 2. У АНТОНА ПАВЛОВИЧА

«Как странно здесь...»

«Но до чего же она хороша! ...По спящей, еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сада, а впереди дворец,— черт возьми!.. В окнах гостиницы ярусами Ялта... Светлеет».

Так необыкновенно ярко рисует М. Булгаков свои первые ялтинские впечатления. О том, что Михаилу Афанасьевичу и Любови Евгеньевне сразу же удалось поселиться в гостинице, мы находим подтверждение и в «Воспоминаниях» Л. Е. Белозерской-Булгаковой: «Когда мы подошли к Ялте, она была вся в огнях — очень красивая, — и, странное дело, сразу же устроились в гостинице, не мыкались, разыскивая пристанище на ночь — два рубля с койки...»

Уютный гостиничный номер после мучительного морского перехода... Полагаем, что это была «Россия».

«В Ялте прожили сутки и ходили в дом Чехова»,— писала Л. Е. Белозерская Волошиным 10 июля 1925 года со станции Лозовая. Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна пришли в этот дом 8 июля во второй половине дня. Путь их лежал по неведомым улицам. Что же открывалось взору? В самом начале Аугской (теперь Морская), на углу справа возвышался доходный дом Ширяева, через дорогу собор Александра Невского (архитектор академик Н. П. Краснов), левее — женская гимназия, попечителем которой был А. П. Чехов, по правую руку — дом А. Л. Бертье-Делагарда, строителя Ялтинского и Одесского портов, известного историка, археолога. Выше привлекал внимание

особняк княгини Барятинской, где тогда экспонировалась коллекция редких картин, далее справа — греческая церковь. Пустынные кварталы... И вот, наконец, чеховский сад и очертания белой дачи. Наступил момент, о котором Михаил Афанасьевич, возможно, мечтал в течение многих лет, из гимназического далека.

Антон Чехов и Михаил Булгаков... Две короткие жизни, отзвуки которых так значимы и сегодня, непостижимая взаимосвязь двух судеб, таинственное родство душ — приход в словесность через медицину, непоказная, но непоколебимая вера в христианские начала, драматургическое дарование, сделавшее обоих вечной славой отечественного театра... В некрологе в связи со смертью М. А. Булгакова П. С. Попов писал: «Михаил Афанасьевич пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе. К его творчеству приложима характеристика, данная профессором А. Б. Фохтом в отношении А. П. Чехова. Чехов был учеником Фохта по медицинскому факультету: «Немало дала писателю медицина, которая много берет из жизни и цель которой прекрасно отмечена у Гете: «цель медицины, как науки, постигать жизни сложный ход».

Л. Е. Белозерская пишет, что Булгаков любил Чехова, но не фанатичной любовью, а какой-то ласковой, какой любят умного старшего брата. И прекрасно, глубоко знал его творчество. Михаил Афанасьевич восторгался записными книжками Антона Павловича, а многие его письма знал наизусть. Однажды, как вспоминает Л. Е. Белозерская, он спросил ее, какое из литературных произведений ей нравится больше всего. И услышав, что, по мнению Любви Евгеньевны, это «Тамань» М. Ю. Лермонтова, заметил: «Вот и Антон Павлович так считает». (Обратим внимание на это обращение — Антон Павлович. — *Авт.*) Булгаков тут же процитировал письмо Чехова поэту Я. П. Полонскому от 18 января 1888 года, где он говорит о «Тамани» как доказательстве родства русского стиха с талантливой изящной прозой...

В квартире Булгаковых на Большой Пироговской в Москве, где в гостях бывала и Мария Павловна Чехова, в ряду собрания русских классиков — Пушкина, Лермонтова, обожаемого Михаилом Афанасьевичем Гоголя, Лескова, Тургенева, Гончарова — стояли и тома Чехова, к которым писатель часто обращался.

Чеховские мотивы постоянно звучат в произведениях Булгакова, и тут нечто большее, чем литературные совпадения. То это слова Сони из «Дяди Вани» — «Мы отдохнем, мы отдохнем» в устах Лариосика в «Днях Турбиных», то московский рефрен трех сестер в «Записках на манжетах», то снег на Караванной из

пьесы «Бег», который ассоциируется с тоской чеховских героинь по недостижимой духовной родине. Поразительно, что и «Чайка», и «Дни Турбиных» индуцированы киевским жизненным материалом, что у Чехова появляется прообраз «консультанта с копытгом» и есть описание снов, которые так напоминают картины сновидений Турбина. Оба писателя обогатили науку яркими клиническими наблюдениями, например, о сущности «болевой жизни», когда, по выражению Чехова, «чутье художника стоит иногда мозгов ученого». А из своего умопомрачительного путешествия из Житомира в осажденный Киев Ларион Ларионович Суржанский привозит в дом Турбиных на Алексеевском спуске единственное сокровище — книги Чехова. «Рубашка, впрочем, у меня здесь, кажется, есть одна. Я в нее собрание сочинений Чехова завернул. А вот будете ли вы добры дать мне кальсоны?» И далее Лариосик произносит почти чеховскую по тональности фразу: «Кремовые шторы... За ними отдыхаешь душой. Забываешь о всех ужасах войны. А ведь наши израненные души так жаждут покоя». Между прочим, существовал реальный прообраз Лариосика — г-н Судзиловский, родственник Татьяны Николаевны Лаппа, первой жены писателя, которому доктором Булгаковым был выписан рецепт успокоительной микстуры.

При любых обстоятельствах, горячо подчеркивают и Чехов и Булгаков, врач не имеет права даже просто санкционировать унижение человека, оставаться бесстрастным свидетелем насилия. В «Острове Сахалине» Чехов высказал свое суждение о таких врачах и даже записал несколько подлинных фамилий. И как бы развивая эту линию, доктор Яшвин в рассказе «Я убил» стреляет в мучителя в полковничьей форме. «Я буду поддерживать высшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия; даже под угрозой я не использую мои знания в противовес законам человечности», — говорится в Женевской декларации — международном кодексе норм врачебной этики. Первыми, кто ударил в литературе в колокол врачебной совести, были Чехов и Булгаков.

Пролетело время. В 1932 году в дни тяжелых раздумий о судьбе, о сложившемся и не сложившемся («в прошлом... я совершил пять роковых ошибок...») Булгаков пишет Павлу Попову: «Недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что когда я буду вскоре умирать... никто не придет ко мне, кроме Черного Монаха. Представьте, какое совпадение. Еще до этого предсказания засел у меня в голове этот рассказ». Речь идет о рассказе Чехова «Черный Монах», который действительно в чем-то существенном определил круг размышлений Булгакова и о себе, и о своих героях. Иссле-

дователи особенно выделяют ранний рассказ Булгакова «Красная корона» (1922), видя в нем ядро «художественного мироощущения Булгакова». Осознание героем своей вины за участие в убийстве соотечественников в годы гражданской усобицы приводит его к безумию. Характерный подзаголовок рассказа — история болезни — отсылает нас к чеховскому определению своего «Монаха»: «Это рассказ медицинский».

Художественный опыт «Черного монаха» отразился в рассказе Булгакова «Морфий» (1927), конец которого прямо соотносится с трагическим финалом у Чехова («Да, я безнадёжен. Он замучит меня»), а болезненные видения морфиниста явно перекликаются с чеховскими строками. «И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и рожками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами... вдруг пот холодный потек у меня по спине — понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли», — пишет Булгаков. Напомним, что именно у чеховского магистра Коврина, заболевшего от интеллектуального перенапряжения, признаком болезни стало появление проносящегося по небу черного монаха.

Вообще медицинские наблюдения Чехова, по-видимому, глубоко откладывались в памяти Булгакова: цитирование возникло произвольно. В автобиографических «Записках на манжетах» при описании болезни героя вдруг проскальзывает чеховская интонация рассказа «Тиф»: герой не узнает своего голоса, который после приступа «был слаб, тонок и надтреснут».

Чеховские мотивы обнаруживаются в самых необычных ситуациях. Л. Е. Белозерская вспоминала, что Булгаков любил неожиданно вставить в разговор фразу из чеховского рассказа «Толстый и тонкий» — «жена моя лютеранка». Драматический вариант встречи «толстого и тонкого» разбивается в пьесе «Бег»: Хлудов под страхом смерти требует очистить пути для бронепоезда, а ошалевший от ужаса начальник станции выгаскивает жену и детей, лепеча вздор: «Ваше высокопревосходительство... у меня детишки... еще при государе императоре Николае Александровиче... Оля и Павлик, детки... Олечка, ребенок... способная девочка. Служу двадцать лет и двое суток не спал».

Хлудов без колебания повесит начальника станции, если приказ не будет выполнен, но угощает девочку карамелькой, на что несчастный отец отвечает: «Бери, Олюшенька, Бери... Генерал добрый. Скажи, Олюшенька, „мерси“». Тонкий, худой и желчный генерал — и маленький, кругленький начальник станции... Чеховская сцена в новых страшных обстоятельствах.

Обращаясь к «Запискам юного врача», отметим, что уже сам образ повествователя, который не рассказывает, а описывает

события, восходит к представлению о потенциальном писательстве русского земского врача. Конечно же, и типовые черты земского врача, и манеры общения с пациентами — неграмотными крестьянами были взяты в «готовом виде» у Чехова. В рассказе «Пропавший глаз» есть прямая отсылка к чеховской «Хирургии». В рассказах «Стальное горло» и «Звездная сыпь» почти дословно повторяются диалоги из чеховского «Беглеца».

Но есть нечто принципиально иное в самом образном мире Булгакова, как и в реальном послечеховском мире. У Чехова странные конфликты: человек борется, бьется в силках житейских обстоятельств, зачастую не имея перед глазами реального противника. Зло растворено, не персонифицировано. Зло — сама система обстоятельств бытия и бьга. И если происходит прямое столкновение Добра и Зла, то в отдаленном будущем — через 200 тысяч лет, когда Мировая душа вступит в противоборство с отцом материи дьяволом («Чайка»). В реальности же лишь изредка промелькнет тень, намек на сатанинское в виде фабрики, например, в рассказе «Случай из практики» или в пейзажных деталях «Острова Сахалин». Даже Черный монах лишен сатанинского начала.

Булгаков живет в ином мире — в мире, где пришествие дьявола отмечено миллионами убитых, задушенных газами, разорванных снарядами на первой мировой войне. Его присутствие чувствуется в вакханалии гражданской усобицы, в ужасах красного и белого террора... Дьявол среди нас — таков лейтмотив многих литературных произведений той поры. Так что совсем не случайно, а вполне оправданно и закономерно тема сатаны, дьявола становится сквозной у Булгакова, варьируясь, изменяясь, приобретая то облик Хлудова, то апокалипсического зверя, то Воланда, то Сталина... Облик дьявола то конкретно историчен, то мифологичен, то решается в бытовом, то в отвлеченно-философском ключе... Потому и гротеск, фантазмагория, травестирование известных литературных сюжетов и образов, карнавальность занимают значительное место в поэтике Булгакова. Чехов же изображает иные, кажущиеся идиллическими обстоятельства — люди обедают, просто обедают... Как далеко и безвозвратно то время. «Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад», — пишет Булгаков в 1917-м.

И Чехов, милый Чехов всегда служил для Михаила Афанасьевича духовным магнитом. Во время литературных вечеров во Владикавказе, которые устраивали молодые Слезкин и Булгаков, звучали рассказы Чехова «Хамелеон», «Хирургия», «Дипломат», «Оратор», «Канитель», «Лошадиная фамилия». Со вступительным словом «Чеховский юмор» на этом вечере 14 декабря

1920 года выступил Михаил Булгаков. Двадцатый год и Чехов...
Какая верная любовь!

Бесспорно, имя Антона Павловича Булгаков услышал еще в детстве. «Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно...» — вспоминала сестра Булгакова Надежда Афанасьевна. Будучи любителем и постоянным посетителем Соловцовского театра, гимназист Булгаков мог увидеть здесь в 1901 году «Трех сестер», а ранее «Дядю Ваню». Очевидно, он присутствовал в 1904 году на июльских литературных вечерах памяти великого писателя, которые проводил в Киеве актер Соловцовского театра П. Н. Скуратов. Характерно, что одним из первых университетских наставников студента-медика Булгакова был друг Антона Павловича, биолог и путешественник профессор А. А. Коротнев. Но, очевидно, наиболее сильный нравственный импульс к осуществлению страстного желания — вдохнуть воздух чеховского дома дали встречи М. А. Булгакова с В. В. Вересаевым и М. А. Волошиным. Волошин в период его исключения из университета в конце 90-х годов минувшего столетия посетил Антона Павловича в Ялте. Замечательно, что поэт, по сути, первым отметил: Чехов открыл в России поток литературы европейского типа. Возможно, сама идея строительства Дома поэта возникла под влиянием Чехова — демократа и общественика...

В. В. Вересаев вместе с А. М. Горьким впервые посетил Чехова в его доме в Аутке в апреле 1903 года. Антон Павлович читал им корректуру своего последнего рассказа «Невеста», они обсуждали тему революции. «Туда разные бывают пути», — пророчески заметил Чехов.

«Пыльная улица, очень покатый двор, по которому расхаживал ручной журавль, чахлые деревца у ограды» — так описывал Вересаев свои аутские впечатления... Ему запомнилась надпись в кабинете Антона Павловича — «Просят не курить...» Чехов был уже очень болен... Они обменялись фотографиями, а в мае Чехов направил Вересаеву книгу «Остров Сахалин» с дарственной надписью. «Записки врача» Вересаева Антон Павлович сохранял среди наиболее дорогих ему книг в личной библиотеке в Ялте. Прочсть «Записки», изданные в 1903 году, Чехов уже не успел, листы остались неразрезанными...

И вот спустя более чем двадцать лет, когда только-только оживал после нескольких засух выпестованный Чеховым сад и тут снова журчал ручеек, в чеховский музей, созданный Марией Павловной Чеховой, пришел автор «Белой гвардии»...

«В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими улочками, вздырающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и

чистенький двор, усыпанный гравием,— так пишет М. Булгаков. — Посреди буйно разрошегоса сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: „А. П. Чехов”.

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это — Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь.

...В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девятилетних годов — живой, со смешливыми глазами. „Таким приехал сюда”. На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова...

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский и Шалапин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись,— вещь никому не нужная. (Воспоминания о родной Украине — характерная черточка Булгакова. — *Авт.*.)

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись: „И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...”

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише за письменным столом белоснежный диван, над диваном картина Левитана: зелень и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаш и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 года, и в мае он уехал за границу умирать...

В спальне на столике порошок фенаcetина — не успел его принять Чехов, и его рукой написано „phenat...”, и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо „наш многоуважаемый шкаф”, а потом стал „многоуважаемый” в „Вишневом саду”.

В этих лаконичных, полных тихой любви строках встает последняя весна Антона Павловича. Булгаков пишет о совестливости Чехова, заставлявшей его в дни приближения конца поощрять начинающих литераторов, о его связи с первоначальной профессией, его прощании с Ялтой.

Очерк Булгакова, опубликованный осенью 1925 года, впервые после революции рисует истинного Чехова без ретуши и фальсификаций.

Не случайно Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, выделив публикацию в «Красной газете», тут же переслала экземпляр с очерком в Ялту. Ведь, например, в 1927 году в статье «Чехов без грима» (увы, это и был грубый коммунистический грим. — *Авт.*) Михаил Кольцов утверждал, что он своих героев — дряблых, немощных обывателей — ненавидел и презирал, создал их духовную нищету и беспощадно развенчивал их «якобы порывы, якобы идеалы и якобы глубокие переживания». Наверное, очерк Булгакова особенно тронул и Марию Павловну Чехову. Завязалась дружба.

Картины, фотографии... Оказывается, в доме Чехова была целая коллекция «Левитанов». Подмосковный пейзаж в нише камина, на который обратила внимание и Любовь Евгеньевна, художник написал прямо в кабинете Антона Павловича в новый 1900-й год. У Марии Павловны сохранились краски Левитана, учившего ее живописи и даже делавшего ей предложение...

Видимо, в доме было прохладно. Толстые каменные стены защищали комнаты от летнего зноя — в жаркие месяцы это было благом. Да и все остальное было необычно. Прихотливый вкус архитектора Л. Н. Шаповалова, строившего дачу на излете века, чувствовался и в романском своде нижнего крыльца, выходящего в сад, и в круглых окошках современного стиля, и в уюте кабинета с большим венецианским окном с цветным витражом, затенявшим яркий солнечный свет — у Чехова была сложная болезнь глаз... Все это щемяще напоминало родной дом на Андреевском спуске, дом «постройки изумительной». Кочуя с одной квартиры на другую, Булгаков ужасно тосковал среди голого однообразия коммунальных жилищ. Не случайно в его московских заметках сквозит эта мечта о нормальном быте, о квартире с картинами на стенах... «Мака, ты хотел бы иметь такой кабинет?» — спросила Любовь Евгеньевна при повторном посещении чеховского дома, и Булгаков ничего не сказал, кивнул утвердительно...

Но сколько труда пришлось вложить Чехову, чтобы сделать из дачи на пыльном косогоре культурное место. В саду, разбитом на куртины, поднялись шелковицы, пирамидальные акации, атласские кедры и японская мушмула. Благоухали розы ста сортов. В партерной части сада выросло даже уникальное растение с названием «тещин язык»: цвело оно поздней осенью, и листья были усеяны острыми колючками. Возможно, к чеховскому растению имеют какое-то отношение «тещины языки», которыми торговал в Константинополе бывший генерал Чарнота...

И Чехов и Булгаков стремились к «вечному дому». Кажется, за первые три года проживания в Москве семья Чеховых сменила двенадцать «углов». Обычно это одна—две комнаты, почти всегда в полуподвале, где и ютилось многочисленное семейство. Угол — прообраз печально знаменитой коммунальной квартиры, запечатленной Булгаковым. Чеховы еще с таганрогских времен тяготились необходимостью снимать эвиду отсутствия собственного дома чужие жилища. Отец пытался было стать домовладельцем, но стал жертвой коварства подрядчика, заложившего непомерно толстые стены. Чеховым пришлось бежать в Москву, но мечта о собственном доме осталась. Воплотить ее удалось уже Антону Павловичу. — он приобрел дом с усадьбой в Мелихове, а потом построил «Белую дачу» в Ялте. Кабинет строился в соответствии со вкусом хозяина: архитектор предусмотрел уютную нишу, где разместился диван для отдыха (Чехов хранил в нем свою переписку). Резная дверь вела из кабинета в спальню. У двери на стене — телефонный аппарат. Уютную обстановку дополнял камин. Центром рабочего кабинета, разумеется, был стол писателя. К столам Чехов был пристрастен: один и тот же стол сопровождал его с московской квартиры на Садово-Кудринской в Мелихово и потом в Ялту. Стол-ветеран можно и сейчас увидеть в литературной экспозиции чеховского музея.

Можно подсчитать, сколько коммунальных «углов» сменил за годы московского жительства писатель Михаил Булгаков.

По приезде в Москву Булгаков жил сначала в общежитии, потом скитался по служебным квартирам. Характерна запись в дневнике «Под пятой» за сентябрь 1923 года: «Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека». Конец 1924-го: «Живу я в какой-то совершенно неестественной хибарке». Елена Сергеевна Булгакова писала, что мечта о хорошей квартире сопровождала писателя всю жизнь — «пунктик какой-то». Но мечта так и не сбылась.

В «Воспоминаниях» Л. Е. Белозерской есть описания булгаковских квартир. Малый Левшинский, 4,— две маленькие комнатки в московском особнячке, в которых обыкновенно обитали дети с няньками. Кухня — общая, без газа. На столах гудели примусы. На Большой Пироговской, 35а, у Михаила Афанасьевича уже был кабинет с библиотекой. Комнату писателя расширили за счет соседа, которому заплатили отступного. В квартиру переехал письменный стол — верный спутник Михаила Афанасьевича, за которым написаны почти все его произведения («боевой товарищ»). Как и Чехов, Булгаков тоже перевозил свой стол с квартиры на квартиру.

И еще совпадение. У Булгакова стол, служивший ему, по словам Белозерской, в течение восьми с половиной лет, повернут торцом к окну — точно так же, как и ялтинский стол Чехова...

Стояла лампа, сделанная из синей вазы, с абажуром. В «Белой гвардии» абажур воспет как символ домашнего тепла и уюта. «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен». При посещении чеховского дома в 1925 году Булгаков обратил внимание на стол, на котором в безукоризненном порядке расположились карандаши, перья, неврологический молоток и почтовые пакеты. В спальне отметил свечи, при свете которых и сам любил писать.

«Уу, проклятая дыра!» — так словами Мастера мог бы высказаться о своих московских «углах» и сам Булгаков. Для Мастера даже двухкомнатная квартирнка «с маленькими оконцами над самым тротуарчиком» казалась «золотым веком». Почему? Потому что зеленая лампа над рабочим столом... Потому что любимая женщина рядом... Сломленный, раздавленный болезнью Мастер после вызволения из желтого дома готов был довольствоваться тем же привычным полуподвалом.

«Что делать вам в подвальчике? — резонно спрашивает Воланд...

— О, трижды романтический мастер, неужели вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером?...

«Слушай беззвучие», — говорит Мастеру Маргарита, когда судьба их была решена и они, шелестя песком под босыми ступнями, шли к месту обетования. — «Слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали при жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше».

Но квартирный вопрос, самый мучительный вопрос для Булгакова, не сводился только к быту. По мнению комментаторов «Мастера и Маргариты», для Булгакова «дом, очаг, лампа — символизируют материальные основы человеческого бытия, а не только быта, без этих опор нет и не может быть независимой человеческой личности».

Если внимательно прочитать очерк Булгакова о посещении чеховского дома, то возникает именно ощущение Дома, где все приспособлено для творчества: письменный стол, фотографии дорогих людей, большое окно («мягкий и странный свет»), картина Левитана, которая отвечает общей тональности дома. Тут Булгаков увидел в спальне «свечи под зеленым колпаком» (зеленая лампа — воспоминание о киевском доме на Андреев-

ском спуске), увидел тот самый шкаф, который стал «многоуважаемым в пьесе «Вишневый сад». Это обстановка дома, которая порождает образы, создает атмосферу для творческой работы... Тишина — ценность, о которой автор не забыл упомянуть в романе «Мастер и Маргарита», когда повествовал о «вечном доме», вечном и заслуженном приюте Мастера. Возможно, тогда, в чеховском доме, у Булгакова родилась мысль о тишине как особой ценности творческого бытия: он отмечает, что больного Чехова лишали тишины и здесь, в ялтинском доме. «В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели...» — цитирует он рассказ экскурсовода.

«Дух жизни в вещи влей» — эту строку Велемира Хлебникова не зря цитирует в книге «Мир Чехова» исследователь его творчества А. П. Чудаков. Бесспорно, что в образе «вечного дома» присутствуют явные черты чеховской «Белой дачи» в Ялте, где в саду журчит ручей, над которым весна вскипает белым цветением вишен, черешен, где вьется старая виноградная лоза и в сиреневых облаках глицинии вьется серебряная нить песни дрозда, где в кабинете писателя, наполненном светом большого венецианского окна, играют цветные зайчики витража и где вечером над столом горят четыре белых свечи, где в гостиной на пюпитре раскрыты клавиры Шумана и Шуберта — любимых композиторов Чехова... О Шуберте говорит и Маргарита!

«Судьба Булгакова имеет свой драматический рисунок, — пишет В. Я. Лакшин. — Будто заранее было предсказано, что мальчик, родившийся 3 (15) мая 1891 года в Киеве, в семье преподавателя духовной семинарии, пройдет через тяжкие испытания эпохи войн и революции, будет голодать и бедствовать, станет драматургом лучшего театра страны, узнает вкус славы и гонения, бури оваций и пору глухой немоты и умрет, не дожив до пятидесяти лет, чтобы спустя еще четверть века вернуться к нам своими книгами». Чеховский дом в этом сочетании страдания и подвига — значимый рубеж утешения и раздумий, веры и вдохновения. Перенесемся же мысленно вместе с Михаилом Афанасьевичем под тихие своды... Тут он находил что-то очень важное для себя, его легкие шаги не раз и не два слышали эти дорожки. Шаги воспреемника Чехова...

«А наутро в Севастополь, — пишет Л. Е. Белозерская. — С билетами тоже не маялись — взял носильщик. Полюбовались видом порта, городом, посмеялись на вокзале, где в буфете рекламировался „ягодичный квас“»... Позже в вечерней «Красной газете» появилась серия крымских фельетонов М. А. Булгакова. Вот что пишет он об этом же дне: «...Вечером из усеянного звездами Севастополя, в теплый и ароматный вечер, с тоской и сожалением уехали в Москву».

...Спустя два года Михаил Булгаков вновь войдет в дом на горе. Его ласково примет Мария Павловна Чехова и опять поведет по комнатам. В эти дни Михаил Афанасьевич познакомится с младшим братом Чехова Михаилом Павловичем. Он скажет в письме: «Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась в его глазах».

Но об этом сюжете — далее.

«За обещанным Вами письмом...»

Новый, 1926 год Булгаков, по воспоминаниям Натальи Ушаковой, встречал у Габричевских. На елке висели рисунки — портреты гостей. Сохранился маленький рисуночек с продернутой ниткой — шаржированный портрет Булгакова с грустными глазами. Под портретом была подпись: «Мака вспоминает коктебельцев». Но время отодвигало идилический Коктебель. 4 января стало известно, что отдельное издание «Роковых яиц» сорвалось. До этого, вскоре после выхода, была конфискована «Дьяволиада». 7 мая к Булгакову пришли с обыском...

Сохранялись шансы на премьеру двух пьес. Однако в конце мая появляется статья Виктора Шкловского, где он как бы закрывает занавес перед Булгаковым-драматургом, резко оценивая его прозу. Впрочем, в июне в библиотеке журнала «Смехач» выходит маленькая книжечка его рассказов. Разрешенная к переизданию «Дьяволиада» и эти рассказы, предлагаемые вместе с юморесками Остапа Вишни за 30 копеек,— последние прижизненные издания Булгакова...

Июньские недели Булгаковы проводят в Мисхоре вместе с семьей сестры Михаила Афанасьевича Елены Светлаевой. Несомненно, в эти дни писатель побывал и в доме Чехова. (Как пишет Л. Е. Белозерская о встречах в Аутке в 1927 году, Михаил Афанасьевич здесь не в первый раз). А в июле они поселяются, по совету друзей, на даче у Понсовых в Крюкове под Москвой. Здесь у Михаила Афанасьевича и Любви Евгеньевны была комната — пристройка с отдельным входом. Судьба возьмет за горло позже...

...5 октября в Художественном театре состоялась, наконец, премьера «Дней Турбиных». Обстановка в театре не была похожа ни на какие другие премьеры — в зале плакали, падали в обморок. Но 14 октября «Комсомольская правда» публикует «Открытое письмо МХАТу» поэта А. Безыменского. «Я ничего не говорю против автора пьесы Булгакова,— не очень грамотно изъясняется поэт,— который чем был, тем и останется, новобур-

жуазным отродьем, брызжущим отравленной, но бессильной слюной». «Ему нравятся сомнительные остроты, атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля», — характеризует пьесу А. Луначарский. И все-таки 1927 год Булгаков впервые встречает в ореоле литературной известности. За три месяца «Дни Турбиных» прошли сорок один раз. 28 октября состоялась премьера «Зойкиной квартиры»...

14 января 1927 года «Дни Турбиных» идут на сцене МХАТа в пятидесятый раз. 7 февраля в театре Мейерхольда организуется диспут, который пытаются превратить в судилище над Булгаковым. Характерны строки письма А. М. Горького от 10 марта, адресованные А. Н. Тихонову: «А что Булгаков? Окончательно запрещен к богослужению?»

Этой же весной Булгаковы гостят в Судаче, на даче у композитора А. А. Спендиарова. Отсюда в один из солнечных дней на моторной лодке они совершают переезд в Ялту. Стоит прекрасный май. Хотя само путешествие можно назвать рискованным — вода еще очень холодна... «М. А. был доволен, предлагал пристать, если приглянется какой-нибудь уголок на берегу, — пишет Л. Е. Белозерская. — Когда мы приехали в Ялту, у меня слегка кружилась голова и рябило в глазах. Остановились мы у знакомых М. А. (память, память, правильно ли донесла ты фамилию этих милых гостеприимных людей — Тихомировы?)».

Кто же такие Тихомировы, и где поселились Булгаковы? Со слов Евгении Михайловны Чеховой известно, что Тихомировы держали небольшой пансионат в Ялте. Отсюда до моря пять минут неспешным шагом. Лиза Тези, супруга Василия Тихомирова, была хорошей портнихой и обшивала Марию Павловну, позже она сшила для нее специальное платье к юбилейным чеховским дням 1935 года, когда сестра писателя представляла семейство на торжествах в Таганроге. Вероятно, Булгаковы обратились к Тихомировым по рекомендации Чеховых...

Уточним, что дом Тихомировых находился не на Боткинской, как считала Е. М. Чехова, а на Виноградской. По нашим сведениям, Василий Тихомиров являлся крупным домовладельцем, построил по проекту Н. П. Краснова комфортабельную виллу «Елена». В этом же доме на Набережной, 30, согласно «Списку владений по улицам Ялты», жила и семья Тихомировых. В. Тихомиров, видимо, приобрел еще один доходный дом по Виноградской, 8, сооруженный в начале века. Об этом мы узнаем из подшивки газеты «Красный Крым», где в номере от 17 июля 1927 года в постановлении под номером 132 указан и дом на Виноградской, 8, подлежащий изъятию. Возможно, к этому времени Михаил Афанасьевич покинул дом. Ведь он предпочитал не сталкиваться с домоуправами и комендантами типа Портупей и Швондера...

Снова вспоминает Л. Е. Белозерская: «На другой день мы пошли в Аутку... Все вверх и вверх. Нас ласково приняла Мария Павловна. В это время здесь жил еще брат Антона Павловича Михаил Павлович, первый биограф писателя. Особенно нам понравился кабинет Чехова. М. А. здесь не в первый раз...

Мне было очень приятно, когда позже к нам на пироговскую приехала Мария Павловна Чехова. Было в ней что-то необыкновенно простое и привлекательное...»

Итак, ялтинские сумерки. Вместе с Чеховыми Булгаковы были в один из вечеров гостями Ванды Станиславовны Дыдзюль (Дижулис), поистине необыкновенной женщины, близкой знакомой чеховской семьи. Мария Павловна и Михаил Павлович познакомились с ней в 1923 году, придя на прием как пациенты (Дыдзюль по специальности была зубной врач). Кабинет ее располагался на втором этаже бывшего доходного дома Мордвинова (ныне гостиница «Крым»). Здание находится в районе порта недалеко от набережной.

Биография, как пишет Евгения Михайловна Чехова, у Ванды была романтическая: родилась в Литве, была женой известного революционера Капсукаса. После его ареста под чужим именем пришла к нему на свидание в тюрьму, была схвачена и заперта в сарай. Ночью сделала подкоп и бежала. После поражения революции 1905 года мужа сослали в Сибирь, а Ванда увезла большую туберкулезом дочь в Крым. Здесь она похоронила дочь, а сама стала практиковать как зубной врач в Алуште и Ялте. Жила с сестрой и племянницей Юлией, с которой очень подружился Михаил Павлович: читал, рисовал. Ванда помогала Чеховым с продуктами: врывалась в дом с неизменным «чемоданчиком», откуда извлекались деликатесы.

«Она не вошла, а влетела... внесла волну свежего утреннего воздуха и такой гомон, точно вместе с нею явились целые когорты римских солдат. Оказывается, что в эту ночь рыбакам удалось поймать рыбу — и вот она поспешила принести ее для нас... Семь кефалек... Это трогательно...» — в таких выражениях М. П. Чехов живописал ее появление в письме в Москву (20.12.1931) (цит. по копии, представленной Евгенией Михайловной Чеховой Г. А. Шалюгину). Вот еще запись — она касается именин Михаила Павловича в ноябре 1930 года: «Ванда явилась с аккордеоном и пела множество романсов и арий. Оказалось, было пять лет назад пари — и она сдержала слово! А Маша только и повторяет: «Какая сила воли! Какая настойчивость!» (21.11.1930).

Ванда постоянно затевала всевозможные пикники, поездки в горы, обеды у себя дома, придумывала именинные и праздничные подарки — человек с неистовой энергией. В 1932 году

поехала в Литву — и не смогла вырваться. В письмах постоянно ругала «бездарное, гнусное болото» и мешанство в буржуазной Литве, стремилась в Ялту: «Хочу к Вам на Аутку». Во время немецкой оккупации на нее донесли, ее арестовали и расстреляли в лесу у Паневежиса.

Именно в компании Ванды Дыдзюль Булгаковы и провели вечер. Вместе с Булгаковыми на именинах Ванды были Мария Павловна, Михаил Павлович и его дочь Женя, только что вышедшая замуж за Николая Блюме. Судьба ее сложилась так, что она всю жизнь проработала в Московской консерватории, была певицей-иллюстратором: певческий репертуар ее был безграничен.

Судя по всему, приглашенным гостям Булгакова представляли как нечто вроде «свадебного генерала», а Михаил Павлович не без иронии описывал это событие жене в Москву в письмах от 13 мая 1927 года: «...Наши здешние дамы стали являть свое искусство перед приезжими и, главным образом, перед Булгаковым. Он ведь теперь знаменитость! Пел бас. Ревел, как бык. Пела мадам Кузнецова, пела еще какая-то финтифля, надуваясь и топорщась, как оперные певцы, и такие вещи, что не проворотишь. А затем, когда отпели уже, выступила наша Женечка со своими жизне-радостными новинками — и все точно из мертвых воскресли... Она была в ударе и пела с мимикой, поддельваясь под кафе-шантан... Сразу все преобразилось. Началась вакханалия. Я дирижировал гран-роном, были и фокс-трот, и вальс, и канкан,— чего только не было. Пели соло, пели под скрипку, пели хором. Дорохов стал кувыркаться сальто-мортале. Вася указал на фигуру Михайлины (сестры Ванды. — *Авт.*) и сказал: „Точно комод на аукционе“. Фраза сама по себе ничтожная, но поднялся такой смех, я думал, что лопну. Вернулись домой в 3 часа утра, всего я здесь не припомню. Даже Маша досидела до такой поры и плясала... (Марии Павловне было уже 64 года)».

Евгения Михайловна Чехова, с которой Г. А. Шалюгин беседовал об этом вечере в феврале 1973 года в Москве, живо вспомнила подробности именин. Она назвала участников: Дорохов — ялтинский знакомый Михаила Павловича, «мадам Кузнецова» — жена местного врача, Вася и Лиза — владельцы пансионата на Боткинской, где остановились Булгаковы. Добавим, что Булгаков любил веселую компанию, любил розыгрыши и мистификации, так что вряд ли он ограничился ролью «свадебного генерала». Мы можем представить и маршрут, по которому теплым майским вечером Булгаковы отправились на именины. Сначала по тенистой Виноградской улице, по которой в свое время любил гулять Чехов и на которой жил Максим Горький. В одном из переулков, соединяющих Виноградную с близкой набережной (Черноморском), стояла дача доктора Фарбштейна, где Чехов жил

в свой первый приезд в Ялту. Далее — уютное сиреневыми водопадами цветущей глицинии здание курортной поликлиники — великолепное строение П. К. Краснова, архитектора Ливадийского дворца, далее — колоннада парадного входа гостиницы «Россия», где жили и Чехов, и Бунин, и Станиславский, и Некрасов, и Маяковский. Тут, думается, Булгаковы замедлили шаги, вспомнив первое посещение Ялты.

Накануне именин состоялась поездка по Бахчисарайской дороге на водопад Учан-Су — одну из самых живописных достопримечательностей Южного берега. Водопад этот воспет в стихах и прозе. Молодой Чехов, наслушавшись рассказов Левитана, приезжавшего сюда писать этюды, еще в 1886 году заочно описал водопад в рассказе «Длинный язык», назвав по незнанию «фонтаном». Великолепное стихотворение посвятил ему Иван Бунин:

Светлее, слаще воздух горный
Невнятный шум идет в лесу:
Поет веселый и проворный,
Со скал летящий Учан-Су!

Обстоятельства поездки описаны в письме М. П. Чехова жене в Москву от 12 мая 1927 года: «Вчера утром за Женей и Колей заехали Вася, Лизочка и автор «Турбинных» Булгаков, который живет сейчас у Тезей, чтобы ехать на Учан-Су. Стали тащить и меня. Я вовсе не предполагал ехать, потому что не имею денег, чтобы платить за экипаж и прочее, но сочли это за ломание — и пришлось ехать и мне... Взлезали на крепость в Иосаре, были около водопада и там же завтракали. Хорошо закусили и порядочно выпили. Булгаков был очень мил, хотя грусть все время светилась у него в глазах, несмотря на это и он тоже выпить был не дурак. Обрато ехали верхней дорогой, на Ливадии, когда доехали до дворца эмира Бухарского, то я... пошел домой пешком... Остальные объехали Ялту и пили чай у Тезей».

От чеховского дома экипажи катили по Исарскому шоссе и, переехав каменный мост, устремились по серпантину к остаткам средневековой крепости Исар-Кая. Нависая над дорогой, светилась нежная зелень кизила, теплая охра сосновых стволов, в разрывах зеленого полога вставала отвесная горная стена, высился зубец Ставри-кая, окруженный сплошным массивом крымской сосны. Справа, в сумрачной низине, громоздились серые валуны, белели корни вывороченных сосен; удивляла сила, скрывающаяся в этом тщедушном ручейке, еле заметном среди камней. Весной, в период таяния снегов в горах, это каменистое ложе переполняется ревушим потоком, играющим валунами, как мячиками. Случались сходы селевых потоков — они сметали

виноградники и леса, разрушали берегозащитные сооружения. Лет пятнадцать назад, по рассказам ялтинцев, Учан-Су вышла из берегов после ливня и затопила в городе часть набережной и прилегавшие улицы.

На пятом километре шоссе справа открылись заросшие кустарником развалины мангупской крепости Исар-Кая. Форпост горного княжества Феодоро в средние века прикрывал подходы к перевалу, на который ведет современное Бахчисарайское шоссе. Где-то здесь, по рассказам Марии Павловны, после победы красных производились расстрелы белогвардейцев: целыми колоннами их чуть ли не ежедневно прогоняли по Исарскому шоссе мимо чеховского дома... Газеты публиковали списки расстрелянных. Жутко было брать севастопольские «Известия»: в ноябре 1921 года печатались списки по 1600, по 1200 фамилий... Неподалеку от развалин татарская деревня с тем же названием. Отсюда как-то в чеховский дом взяли собаку. Покойный Иван Павлович, помогавший Маше сохранять дом в годы гражданской войны, так и назвал ее — «Сысар»...

Евгения Михайловна, участница поездки, рассказывала, что на водопаде были сделаны снимки. Булгаков снялся с Лизочкой Тезе и остальными гостями. На ее памяти таких снимков было два. Один из них нашелся и теперь хранится в фондах Дома-музея А. П. Чехова. Поездка была чудесной: с отвесной скалы, дробясь на серебристые нити, падала прозрачная лента воды и неспешно колебалась под дуновениями ветра. Прыгая с валуна на валун, молодежь пробиралась к сверкающим струям и подставляла ладони. Николай Блюме шелкал фотокамерой, Михаил Павлович нежился на солнышке.

Михаил Чехов и Михаил Булгаков оказались в компании единственными, чьи литературные интересы создавали почву для общения и сближения. Разница в возрасте составляла четверть века. За плечами младшего из братьев Чеховых была пестрая литературная судьба: сочинял ребусы для юмористических журнальчиков, издавал детский журнал, выступал под псевдонимом Михаил Богемский как прозаик. Сборник его рассказов и повестей был даже отмечен почетной Пушкинской премией. Отзыв писал знаменитый юрист и литератор А. Ф. Кони. Его перу принадлежала и первая биография Антона Чехова. Накануне первой мировой войны Мария Павловна издала четыре тома писем брата, а Михаил поместил в них свои биографические очерки. После революции под его фамилией вышло несколько тонких книжек — «Антон Чехов и его сюжеты», «Антон Чехов на каникулах», «Антон Чехов, театр, актеры» и «Татьяна Репина». Книжки издавались небрежно, на плохой бумаге, одна из них попала на глаза Булгакову и вызвала

весьма скептическую оценку. «Плодовитость» Михаила Павловича-мемуариста объяснялась просто: нужно было кормиться... Об одной из книг Михаил Павлович сообщал в письме Марии Павловне: «Публика встретила ее настолько хорошо, что я уже сейчас могу послать тебе 2 1/2 миллиарда...»

Перебравшись в Ялту, Михаил Павлович стал правой рукой сестры в обустройстве музея: составлял экскурсионные рассказы, методички, вел отчетность, а на досуге занимался конструированием часов и переводами. Часы Булгаков видел в нижнем этаже Белой дачи — они были выгочены целиком из дерева... Как переводчик он оказался плодовитым — с английского и французского перевел около сорока книг, в основном приключения и детективы...

Михаил Павлович с улыбкой вспоминал, как сочинял лет сорок назад шуточный путеводитель по Крыму для брата Ивана. «Руководство для путешествия» рекомендовало пить чай у «Верне» (ресторанчик на воде), за езду на извозчике от Ялты до Алупки платить не более 6 рублей, и не на всяком извозчике: «хороший малый № 36». Прежде чем ехать на Учан-Су, надо сначала справиться насчет воды — летом водопад пересыхает...

Надо думать, беседовали они о драматургии, ведь Булгаков оказался во МХАТе советской поры тем, кем был Антон Чехов при рождении театра. Целая плеяда молодых и талантливых актеров — Н. П. Хмелев, А. К. Тарасова, М. М. Яншин, М. И. Прудкин — вошли в жизнь с пьесой «Дни Турбиных» так же, как В. И. Качалов, И. М. Москвин, О. Л. Книппер с чеховской «Чайкой».

Выяснилось, что и сам Михаил Павлович пробует силы в драматургии: пытается переложить для сцены повесть брата «Дуэль». С учетом новых веяний чеховский текст («никто не знает настоящей правды») корректируется. Самойленко провозглашает: «А я знаю! Знаю, в чем состоит настоящая правда!.. Настоящая правда — это труд»... Год назад Михаил Чехов написал собственную пьесу на актуальную тему — «Цветная кожа (колонизаторы)», действие ее происходит в Индокитае. Судя по всему, пьеса заинтересовала Булгакова, и Чехов писал жене Ольге Германовне в Москву: «27 отсюда уезжает Булгаков. Он хотел бы познакомиться с моей пьесой, чтобы дать совет и продвинуть ее. Кажется, она в кожаном портфере... Если успеете по расчету дней, то пришлите...» Письмо было отправлено 9 июля, и неизвестно, держал ли Булгаков ее в руках. Впрочем, собственный сюжет на «туземную тему» у Булгакова (про «положительных и отрицательных туземцев») вскоре появился — это «Багровый остров».

По свидетельству Евгении Михайловны Чеховой, Булгаков обсуждал с ее отцом возможность совместной работы над киносценарием. Каков сюжет его, неизвестно, однако в архиве

М. П. Чехова (ЦГАЛИ) сохранился написанный им киносценарий — «Дело Петрашевского», среди героев которого был и близкий друг семьи Чеховых А. П. Плещеев. В сценарии есть откровенно тривиальные приемы. Написан он уже в 30-х годах и, вполне возможно, несет отпечаток той совместной задумки...

Продолжая тему Михаила Павловича, приведем список книг, переведенных им для издательства «ЗИФ» (Земля и Фабрика) и «Мысль»: 12 названий Джека Лондона (в том числе «Зов предков» и «Морской волк»), восемь произведений Д. Кервуда («Гризли», «Казан», «Сын Казана»), произведения С. Льюиса, Ж. Эсма и др. Но главное, конечно, в том, что Михаил Павлович осознавал необходимость сохранить для людей те многочисленные воспоминания, благодаря которым Антон Чехов обретал черты живого лица среди современников,— так возник замысел книги «Вокруг Чехова». Она вышла в середине 30-х годов. В Ялте неожиданно проснулась семейная страсть к земле: Михаил Павлович с наслаждением копался в заросшем без внимательного глаза саду и с горечью говорил: «Я довел наш сад до высшей точки. Роз — целое море... От цветов не видно листвы. Зацветают лилии, и весь сад принимает библейский вид...» Он прививал на штамбовых розах разные сорта. На книге «Закрома» (словарь сельских хозяев), составленной Михаилом Павловичем, было написано: «Интензивной Маше от экстензивного Миши».

Булгаковых приняла Мария Павловна. Вместе с нею они поднялись в ее светлую комнату во флигеле на втором этаже. Плетеные кресла, столик, за которым сживал Антон Павлович. Здесь в личном альбоме Марии Павловны Михаил Афанасьевич сделал такую полушутливую, а на самом деле таящую большой смысл запись: «Напрасно Вы надеетесь, дорогая Мария Павловна, что я умру по дороге. Я не умру и вернусь в Ялту за обещанным Вами письмом.

М. Булгаков. 13 мая 1927 г. Аутка».

Этот альбом и при жизни Марии Павловны был мало кому известен. Записи Булгакова предшествуют в нем лишь строки, написанные И. Бунинным, К. Станиславским, Т. Щепкиной-Куперник, С. Бадухатым. Потом длительный провал: очевидно, существование его держали в тайне. Во всяком случае, запись В. Молотова мы находим совсем в другой книге. А следующая и последняя запись сделана в альбоме в 1951 году известным офтальмологом Владимиром Петровичем Филатовым. Он был, очевидно, первым вне круга самых близких ей людей, кому Мария Павловна в то время, когда имя Булгакова продолжала окружать стена замалчивания и предубеждения, показала эти строки. Тем важнее осознавать меру этой любви и уважения к памяти писателя.

о том, что англичане нашли у него белую глину и заключили арендный договор на ее разработку.

Л. Е. Белозерская вспоминала: «Я спросила — что это такое — белая глина, зачем она нужна и что из нее делают?»

— Мопсов из нее делают, — смеясь, ответил он».

Кстати, такого мопса из глины Булгаков мог видеть и в самом чеховском доме. Это был подарок ялтинских «антоновок» — глиняные мопс и лягушка, выполненные весьма натурально. Чехов в шутку жаловался посетителям, что сам боится мопса. В 80-х годах после ремонта музея мопс таинственно исчез и вернулся спустя десять лет, найденный в пригородном лесу.

Но это о неосуществленных замыслах Булгакова. Однако пребывание Михаила Афанасьевича в Ялте в 1927 году нашло реальное отражение в его творчестве. Выскажем предположение, что он пережил землетрясение, произошедшее в Крыму в то лето.

В главе «На Воробьевых горах» в романе «Мастер и Маргарита» описаны последние озорные выходки присных Воланда. Бегемот и Коровьев соревнуются, напоподобие былинного Соловья-разбойника, в свисте. Отличился Коровьев: «...он вдруг вытянулся в верх... из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, внезапно раскрутившись, свистнул».

Этого свиста Маргарита не услышала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило саженой на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадил в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег... выплеснула целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам коня швырнуло убитую свистом галку».

Маргарита, улетая, видела, что города уже нет: он «ушел в землю и оставил после себя только туман».

Конечно, понятны чувства Мастера и Маргариты (и самого Булгакова) при виде гибели города, принесшего им столько зла... Но откуда описание землетрясения, вызванного свистом Фагота?

Булгаков такое событие, как мы считаем, хранил в памяти. Весной 1927-го чета Булгаковых отдыхала в Судаке, потом переехала в Ялту и жила в пансионате Тезе-Тихомирова. В июне же началась продолжительная серия подземных толчков, вызвавших серьезные разрушения и страшную панику среди населения и курортников. Очень подробно и живописно описаны эти события в письмах Михаила Павловича Чехова к жене и детям, жившим в Москве: «Миленькие, вы только подумайте! Ведь я был свидетелем землетрясения!.. Да ведь это все равно, что выиграть двести тысяч рублей!»

«...Вдруг я вижу, что над моей головой прогибаются потолки, весь дом затрепетал, запрыгал, лампы стали описывать круги, все кругом зазвенело, затрещало, посыпалась штукатурка. И вдруг под нами что-то загудело... Мы... выскочили в сад. Кругом стоял рев. Под нами гудели пушечные выстрелы... Всеобщий, насколько хватало слуха, собачий вой... Мы стоим и слышим, чувствуем, осязаем, как под нашими ногами колеблется весь земной шар». В результате толчков, продолжавшихся до октября, чеховский дом серьезно пострадал: «...весь чеховский дом целиком наклонился к саду, так что по полу можно было ходить как по наклонной плоскости... При взгляде на подпертые столбами, будто в шахтах, потолки, обитателям дома делалось жутко, будто они входили к умирающему».

В Ялте события развивались так: публику, гулявшую по набережной, отбросило к парапету у моря, а потом обратно к домам. Сильно встрянуло «Ласточкино гнездо»... У Ванды перегорела вся проводка.

Что же писали газеты? Вот выдержка из публикации в газете «Красный Крым»: «За 28 июня Ялтинским телеграфом принято 200 телеграмм от родных и знакомых, беспокоящихся о судьбе курортников». 3 июля появляется материал: «Ученые о причинах землетрясений». В нем сообщается, что «профессор горной академии В. А. Обручев отмечает: такой силы землетрясение впервые за 200 лет. Московская станция записала колебания 26 июня в 13 часов 53 минуты 30 секунд. Характер землетрясения тектонический, а не провальный. Толчки сменялись волнообразными движениями в течение часа. Разрушительная сила землетрясения в Крыму небольшая. 27 июня было отмечено 2 толчка небольшой силы».

Затем следует успокоительная информация — «профессор Двойниченко на лекции в Симферополе 1 июля сказал: «Подводные губят гораздо больше людей, чем землетрясения». 7 июля публикуется официальное сообщение: толчки никаких серьезных повреждений не причинили... Однако Воронцовский дворец, построенный очень прочно, надолго закрывается на ремонт. Следовательно, толчки в Алушке были значительными.

Находился ли Булгаков во время землетрясения в Ялте? Обратимся к хронологии. 10 мая, судя по письму М. П. Чехова, Булгаковы были на именинах В. С. Дюдзель. Днем раньше ездили на водопад Учан-Су. 13 мая Булгаков оставляет автограф в альбоме Марии Павловны. Далее точных сведений нет. Лишь 9 июля появляется новая отметка. Михаил Павлович пишет жене в Москву, что 27 июля из Ялты уезжает Булгаков, который хотел бы познакомиться с его пьесой.

Если это так, то Михаил Афанасьевич во время землетрясения был в Крыму. Доподлинно известно, что 1 августа

Булгаков уже заключал договор о найме квартиры из трех комнат на первом этаже дома 35а по Большой Пироговской возле Новодевичьего монастыря. Можно предположить, что ко времени возникновения толчков или из-за них Булгаковы переехали в Алупку (сотрудница Алупкинского дворца-музея А. А. Галиченко предполагает, что в 1927 году Булгаков жил в Алупке-Сара на даче Карсавина).

В описании землетрясения в Москве у Булгакова наиболее впечатляет сползание берега в воду вместе с постройками. Оползни — бич Крыма. Наиболее разрушительным был Кучук-Койский оползень 1786 года: со склоном сползла и погибла вместе с жителями целая татарская деревня. В 1925-м, когда Булгаковы проезжали по этим местам на автомобиле, оползень засыпал шоссе. Можно предположить, что в столь необычной форме — как последствия хулиганского свиста Фагота — в романе отразились реальные черты крымского землетрясения 1927 года. Землетрясение произошло 26 июня — пишет Михаил Павлович Чехов в Москву.

Что вообще можно сказать о крымских отзвуках в романе Булгакова? Вот, к примеру, такая деталь, как «крохотное личико уродца» (лилипута), увиденное во Владикавказе и отраженное было в первоначальном тексте «Мастера и Маргариты». В сознании писателя это «личико» крепко запечатлелось: оно появляется в окошечке кассы «тараканьих бегов» (сон пятый), чтобы обменяться с Чарнотой репликами относительно сравнительных достоинств насекомых («Вошь - животное военное, боевое, а клоп паразит. Вошь ходит эскадронами...»).

Слово «личико» вобрало в себя определение «крохотное» и ассоциации с «уродцем» и употреблялось в негативном, а не просто уменьшительном смысле. Об этом свидетельствуют строки письма Булгакова к жене из Мисхора, куда летом 1930 года драматург приехал отдыхать в компании с актерами ТРАМа — театра рабочей молодежи: «Устроился хорошо... Погода неописуемо хороша... все чужие личики». И, чтобы Любовь Евгеньевна не подумала превратно, делает поноску: «но трамовцы симпатичны».

Проплывая в ясный майский день мимо чеховского Гурзуфа, Булгаков видел и Суук-Су, в прошлом знаменитый курорт между Артеком и Гурзуфом, где возвышалась скала, подаренная Шалаяпину. Этот курорт принадлежал О. М. Соловьевой, щедро дарившей Антону Павловичу деньги на благотворительные нужды. В чеховском доме он наверняка мог, вероятно, слышать жуткие истории о расправах над белогвардейцами, творимых здесь победившими большевиками. Людей ставили под обрывом шалаяпинской скалы, привязывали тяжелый камень и стреляли в затылок. Одному отчаянному смертнику удалось спастись — он

бросился вниз и не разбился. Прятался в расщелинах, потом перебрался на Адалары, питался водорослями и мидиями и, наконец, ушел за кордон.

Одному из авторов этой книги довелось нырять под шалыпинской скалой и заплывать в таинственный Пушкинский грот... Впечатления остались надолго...

И еще одной мыслью хотелось бы поделиться. Беседы в чеховском саду и под сводами его дома могли касаться и христианской морали Антона Павловича, особенно отчетливо выраженной в его малоизвестной работе «От какой болезни умер Ирод» (1892). Ненасытный убийца, указывает Чехов, погиб от страшной болезни, вызывавшей у современников отвращение и ужас, причем, по словам В. Фаррара, она поражает только людей, опозоривших себя кровожадностью и жестокостью. Как врач, М. А. Булгаков, очевидно, мог беседовать с Марией Павловной и Михаилом Павловичем Чеховыми и о некоторых историко-медицинских увлечениях Антона Павловича и, в частности, о его большой работе «Врачебное дело в России», тщательном изучении различных источников. Наверное, именно как к источнику А. П. Чехов отнесся к трудам историка христианства В. Фаррара, сравнившего смертный час Ирода с обстоятельностью смерти Генриха VIII и Ивана Грозного. Антон Павлович ссылается и на картину болезни и смерти Ирода, оставленную св. Феофилактом: «Горько скончание прият Ирод огневницею и чревницею одержим, и оттоком ножным, и огнитием уда семенного, чрвы рождающа». Чеховский очерк подтверждал его дар предвидения, отраженный также в «Острове Сахалине». Палачи и убийцы, какую бы власть они ни имели, будут осуждены и наказаны историей и судьбой: невинно пролитая кровь будет тяготеть над нами как рок — вот мысль Чехова.

Отсюда, возможно, тянется нить к болезни, преследующей Хлудова, как и к физическим и нравственным мукам Понтия Пилата. Но Булгаков, на примере Пилата, добавляет: судьба не прощает также трусости и отступничества. Напомним, что он интересовался историей медицины и не мог пройти мимо чеховского опыта в этой области. В Барвихе в дни болезни Михаила Афанасьевича Е. С. Булгакова записала под его диктовку: «Медицина, история ее? Заблуждения ее? История ее ошибок».

В июне 1904 года, незадолго до кончины, Антон Павлович Чехов писал из Баденвейлера сестре:

«Милая Маша, уже третьи сутки я живу на месте... Вилла «Фридерик» стоит особняком, в роскошном садике, на солнце... Впечатление кругом — большой сад, за садом горы, покрытые лесом, людей мало,... уход за садом и цветами великолепный, но сегодня вдруг ни с того ни с сего пошел дождь, я сижу

безвыходно в комнате, и уже начинает казаться, что дня через три я начну подумывать о том, как бы удрать... Отсюда в Ялту мы, быть может, поедем морем...»

«Дом стоит красиво на горе»,— пишет Л. Е. Белозерская об Аутке. Не кажется ли вам, что в непостижимых словах о вечном приюте Мастера: «Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не потревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи»,— отразился дух тихого крымского дома, и последнее чеховское видение лика земли?..

Глава 3. «МОРЕ АККОМПАНИРУЕТ СКРИПКАМ»

Все больше зелени кругом...

«...За восемь с лишним лет совместной жизни мы три раза ездили в Крым: в Коктебель, в Мисхор, В Судак, а попутно заглядывали в Алупку, Феодосию, Ялту, Севастополь»,— пишет Л. Е. Белозерская. Крым, Булгаков, Время... Без воспоминаний Любви Евгеньевны, которые можно отнести к лучшим булгаковским хроникам, мы знали бы о Мастере меньше. Это касается и значения южных путешествий в судьбе писателя, зримого и незримого в ней, связанного с теми годами. «О, мед воспоминаний»— прекрасно названы ее записки.

Какою же встает панорама Южного берега Крыма глазами Булгакова? В быстрых, легких, как бы наполненных живительным воздухом зарисовках ярко виден его многогранный блистательный литературный дар. Тут и точность репортера, а телескоп сатирика, и лирические оттенки. А особая тайнопись, когда сочетание обыкновенных слов вспыхивает необыкновенной картиной?! А изюминки сюжетов, которые потом вольно или невольно развивали другие... Например, Остап Бендер в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова, собирая дань с экскурсоводов у Провала и давая скидку членам профсоюза, копирует булгаковскую кассиршу на ялтинском пляже! Да и «сыновья лейтенанта Шмидта» из «Золотого тельца»— прямые потомки булгаковского «Лжедмитрия Луначарского»...

Волшебством эмоционального воздействия крымские очерки Булгакова чем-то напоминают морской бриз, когда рокот стихии, краски волн и веяние озона слитны. Зримые впечатления, образная полифония этих страниц неотделимы от музыки слов, которая пронизывает творчество Мастера, потому и «Бег», и «Кабала

святош», и «Последние дни» сравнимы с операми. «Слышно, как хор монахов в подземелье поет глухо: «...Святителю отче Николае...» Из тьмы возникает скупо освещенная свечками, прикрепленными у икон, внутренность монастырской церкви, где-то в Северной Таврии... За окном безотрадный октябрьский вечер с дождем и снегом». Эти начальные фразы «Бега» — камертон пьесы. Словно маленькие музыкальные этюды, воспринимаются и страницы, написанные в Крыму в 1925-ом.

В августовский день, после ночи в беспокойном море, перед Булгаковым предстала курортная Ялта. Она увидена писателем объемно: «Наутро Ялта встала умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настезь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейкам, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все «по-курортному», и на все спрос. Мимо блестящих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках (2, I, с. 635—636).

Публикации в газете «Красный Крым» за 1927 год — своеобразная панорама, дополняющая булгаковские строки: «ГорПО „Товарищ” объявило о снижении цен на 10 процентов»... «В столовой „Марьино” обед из трех блюд стоит 60 копеек, полный пансион 45 рублей в месяц, комната во дворце „Кичкине” — 10 рублей в месяц»... «Пломбировка зуба стоит рубль, а коронка — 5 рублей». Кооператив «Умид» рекламирует в газете вина, а частная фирма Элинова — фрукты... В газетной статье 2 июля речь идет об использовании в Крыму энергии ветра и о создании ветросиловых станций. Изыскательские работы ведутся ЦАГИ в Керчи, Севастополе, Алушке, на Ай-Петри. Кстати, атмосфера на Ай-Петри в три раза более прозрачна, чем в Альпах... И тут же критические и разоблачительные материалы о том, что билет из Симферополя в Севастополь стоит 1 рубль 90 копеек, а наоборот — 2 рубля 15 копеек... Правление Союза советских работников, не щадя чернил и бумаги, рассылает постановления, инструкции и указания... «1000 дельфинов убито севастопольскими промысловиками за весенний сезон»... «Ликвидирован притон проституток под крышей Меланьи Праведниковой»...

Ялта бурлила.

Возможно, Чехов не видел знаменитую набережную именно такой — шумной, демократичной, торговой. Во всяком случае, в «Даме с собачкой» она элегична. «Говорили, что на набережной

появилось новое лицо: дама с собачкой... И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день... Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих, собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросились в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов».

Но сам Чехов, конечно же, редко встречал пароходы. По нездоровью он избегал летней жары и суеты, а зимой набережная была пустынна. Как пишет А. И. Куприн, «не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду... Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости...» Тут как будто предугаданы и черты натуры Булгакова. Михаил Афанасьевич точно передает обострившиеся приметы города-спрута: «Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е. я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов».

Да, набережная — калейдоскоп контрастов. Но в отблесках нэпа она была весела, богата и, казалось, общедоступна.

Булгаковские строки о морской части Ялты — врачебное предостережение, пристрастная санитарная оценка, злободневная и для нашего времени.

«Хуже, чем купанья в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную крупно-бульжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Но менее понятно, что во имя курортного целомудрия... накоплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собой разумеется, что при входе на пляж сколочена скворешница с кассовой дырой, и что в этой скворешнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворешной дыре после купанья:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно?..

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал».

В 20-е годы, когда людской поток в Крым, и прежде всего в Ялту, резко увеличился, этот небольшой городской пляж служил рассадником инфекции, в том числе бацилл Коха. Говоря об этой опасности (а микобактерии туберкулеза весьма устойчивы во внешней среде, в том числе к воздействию солнечных лучей), доктор Булгаков следует доктору Чехову. Антон Павлович отдал много сил для развития Крыма как противотуберкулезной здравницы. Ведь и в его времена в надежде найти исцеление больные, обычно неимущие люди, с запущенной стадией чахотки и, следовательно, обильным бацилловыделением, устремлялись обычно сюда. Они останавливались в жалких ночлежках и уезжали, не получив облегчения, или умирали под этим солнцем, в роскоши равнодушной природы. Известно, что еще в 1898 году ялтинское благотворительное общество по инициативе А. П. Чехова начало хлопотать о постройке санатория для нуждающихся туберкулезных больных. В 1899 году в газете «Крымский курьер» Чехов опубликовал воззвание «В пользу нуждающихся приезжих больных», а затем разослал его в другие города России. 13 августа 1900 года состоялось открытие пансиона «Яузлар» (теперь тут один из корпусов санатория им. А. П. Чехова) в Нижней Аутке, в доме Милевского. В августе 1902-го для санатория был куплен другой участок земли. 28 мая 1903 года Чехов избирается членом комитета по постройке «Яузлара». Ему оставался лишь год жизни.

Очерк М. А. Булгакова — в какой-то мере продолжение чеховского возвания. Хотя туберкулезных санаториев в районе Ялты стало к этому времени гораздо больше, о чем есть упоминания в «Летучем голландце» и в «Ливадии», приморская часть курорта оставалась желать лучшего.

Вместе с тем современника не могла не привлечь культурная панорама Ялты. В ту пору здесь было пять музеев, шесть библиотек, десять гостиниц, театр, клубы, широкая инфраструктура быта, несколько автомобильных контор и даже... гидроплан, связывавший Ялту с Севастополем в течение одного часа за 35 рублей. Быть может, этот гидроплан и натолкнул Булгакова на мысль о полете Степы...

В художественном музее по Аутской, 33, были представлены прекрасные коллекции западноевропейской и русской живо-

писи, фарфора, стекла, мебели, старинных икон. Во дворце эмира бухарского размещался Восточный музей с персидским, арабским, среднеазиатским, бухарским и крымско-татарским отделениями. Имелся музей туберкулезной лиги.

Интересны сведения о «Крымкурсо», о котором есть упоминание у Булгакова. Карта этой фирмы демонстрирует ее возможности доставить пассажиров в любой район Крыма за относительно недорогую плату, например, от Симферополя до Ялты за 10—15 рублей. Михаилу Афанасьевичу эта сумма, видимо, была не по карману...

У Михаила Булгакова есть поразительная черта: стереоскопическое видение. Так описана и дорога в Ливадию. «...В Ялте вечер. Иду все выше, выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем, как игрушка с косым парусом, застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования. Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу излито, а на краю чаши, далеко, далеко лежит туман».

Дорога в Ливадию... Прокомментируем эти строки. Среди живописных, утопающих в зелени зданий, мимо которых шел Булгаков, выделяются две бывшие дачи — академика Н. П. Краснова и полицмейстера Ялты небезызвестного И. Думбадзе. На старом фото отчетливо видна панорама Ялты с возвышенности.

И вот само благословенное место. Ливадия, раскинувшаяся на пологом склоне горы Могаби (в переводе с греческого — «лужайка», «луг»). Жемчужина Крыма Ливадийский дворцово-парковый ансамбль создан трудом и талантом выдающихся архитекторов, садовников, строителей, прежде всего — И. Монигетти, Н. П. Краснова, Д. Делингера. Кроме Большого и Малого дворцов И. Монигетти, учеником К. П. Брюллова, было возведено в Ливадии более шестидесяти строений, в том числе и изящнейшая дворцовая Крестовоздвиженская церковь. Из-за высокого стояния грунтовых вод Большой дворец, однако, страдал и разрушился от сырости. Замой 1911 года Н. П. Краснов развернул на этом месте строительство нового дворца. Оно было закончено через семнадцать месяцев...

Парк, заложенный более полутора веков назад, выдержан в пейзажном стиле — садовые композиции с сочетанием интродуцированной флоры и местных дикорастущих растений, обилие

см зелени в любую пору года почти незаметно переходят в лес южнобережного типа.

С Большим дворцом связано много событий, в частности, знаменитая Ялтинская конференция 1945 года. Менее известен факт, что 28 июня 1925-го тут был открыт первый в мире санаторий для крестьян. На его открытии присутствовал нарком здравоохранения РСФСР Н. А. Семашко, председатель Совнаркома Украины В. Я. Чубарь, секретарь ВЦИК А. С. Киселев. Здесь побывал А. М. Горький. Крестьянский санаторий дважды посетил В. В. Маяковский.

В очерке «В Ливадии» много фактов истории и современности. Крестьяне живут и лечатся в царских комнатах, и приехали они сюда по поводу туберкулеза. Отдыхающие, о которых пишет Булгаков, очевидно, чем-то напоминали ему бывших пациентов в земской больнице в Никопольском, ставших героями «Полотенца с петухом», «Тьмы египетской», «Стального горла», «Звездной сьпи»...

«Здесь, среди вылощенных аллей, среди дорожек, проходящих между розовых цветников, приютился раскидистый и низкий шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II. Миновав изысканный внутренний дворик, изысканные фонтаны, парадный вход, в большом белоколонном зале обедали крестьяне».

«Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова», — пишет Булгаков. (Такое политическое «укротительство» вызывало у писателя, мягко говоря, недоумение — в «Золотом городе» о выставке за Каменным мостом в Москве он пишет: «Всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, косяной, всякий... Портрет Карла Маркса глядит сверху... Знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина из разноцветных цветов и трав. На противоположном скате — отрывок его речи». — *Авт.*). «На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, — продолжает Булгаков, — с футбольными мячами и без них расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково — в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое и зеленое, гигантскими уступами — сколько хватит глаз — падающее на дно морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло. ...У свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные».

Как ни удивительно, нам удалось разыскать ливадийскую открытку с портретом В. Рыкова.

Здесь же, пишет Булгаков, находится и дворцовая церковь, с которой снят крест, однако колокола, висящие низко в прорезанной белой стене, сохранились. Хроника его бесстрашна, но это, наверное, единственное упоминание в те годы о церкви в Ливадии. Лишь сейчас она восстанавливается. Церковь построена Л. Потоцким во времена Александра II и составила единый ансамбль с Большим Ливадийским дворцом.

Здесь молились три поколения русских царей. В Крестовоздвиженской церкви отпевали Александра III. Тут вступил в царствование Николай II и приняла православие Александра Федоровна. С июля 1991 года панихидой по семье Николая II в церкви возобновилась служба. Выстраивая прелюдию к «Бегу», мастер, быть может, вспоминал церковь в Ливадии.

«У свитского дома...» — пишет Булгаков. Эти строки могут пройти незамеченными, но для писателя тут был исторический знак, касающийся «Бега». В свитском доме в 1920-м «отдыхал» генерал Я. А. Слашов, уехавший с фронта в результате интриг П. Н. Врангеля.

Зеленая чаша окружающих парков... Возможно, проходя по живописным дорожкам, Михаил Афанасьевич вспомнил чеховские слова об этих же местах. «В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного совершенства».

«Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный».

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стекляннно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги поют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую

из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб» (2, I, с. 637—638).

Может быть, это одни из лучших строк о Ливадии и Ялте и одновременно эскиз цивилизованного будущего Крыма.

А утром снова дорога в Севастополь. Булгаковы поехали туда на авто Крымкурсо, а на машине другой артели — чтобы было подешевле. «Правое колесо было «Мерседеса» (переднее), два задних были «Пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань.

Все это гроыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности. Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера... И мы понеслись.

В Гаспри «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажира этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали как ящерицы на солнце. Зелени — океан; уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре.

Вторая — в Алупке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпмановскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу Южного берега».

Пройти пешком по этой благословенной дороге... Выполним этот завет Михаила Афанасьевича и всмотримся в достопримечательности пути — тогда и теперь.

В 1926-м в начале лета Булгаков провел несколько недель в Мисхоре. Вообще Мисхор ему, видимо, очень нравился и подходил как курорт для лечения неврастении. Вот как пишет об этом времени Л. Е. Белозерская: «Весной мы с М. А. поехали в Мисхор и через Курупр (курортное управление) сняли одну комнату для себя, другую для четы Светлаевых (Елена Светлаева — младшая сестра Михаила Афанасьевича, с которой он был близок и дружен до последних своих дней. — *Авт.*) на бывшей даче Чичкина... Кто из старых москвичей не знает этой молочной фамилии? На каждом углу красовалась вывеска с четкими буквами — Чичкинь».

Дача — вместительный дом над морем — им очень понравилась. Но где она находилась? Старые путеводители по Крыму со схемами и картами частных имений не дали ответа на вопрос.

Лишь в путеводителе Б. Баранова, изданном в 1935 году, говорилось, что дачи представителей русской промышленной буржуазии Крестовникова, Морозова, Чичкина, Ухова (Ухов, как оказалось, был артистом императорских театров. — *Авт.*) превратились в корпуса советских санаториев, без конкретных указаний их расположения. Упоминалось, что в Мисхоре находится роща имени Сталина и памятник Ленину «с простертой к морю рукой».

Помог случай. Старожил-мисхорец, детство которого прошло в «Новом Мисхоре», элитарном поселке на землях, арендованных на длительное время у княгини О. П. Долгоруковой (урожденной Шуваловой), составил по нашей просьбе схему расположения дач, куда входила и дача Чичкина. Для подтверждения нужны были документы. В республиканском архиве Крыма, в фонде № 334 (архив О. П. Долгоруковой) отыскивали страховые полисы за 1916—1919 годы «на каменный крытый железом и сводами дом, принадлежавший княжне Ольге Петровне Долгоруковой и находящийся во временной аренде у крестьянина Александра Васильевича Чичкина в Таврической губернии Ялтинского уезда при деревне Мисхор». После этого стало ясно, почему в старых путеводителях нет фамилии Чичкина — он был арендатором дачи, и то только с 1916 года. Не было на даче и «купеческих выкрутасов, что отметила Л. Е. Белозерская. Ведь Чичкин лишь арендовал дом... Он находится на территории санатория «Морской прибой». Приводим его снимок. Быть может, после этого сообщения на здании появится мемориальная доска в честь М. А. Булгакова.

«Помню, как утречком шли мы по дорожке, огибая свой дом. У окна стояли наши соседи — муж и жена. М. А., как всегда, очень вежливо сказал: «С добрым утром, товарищи, на что последовало: «Кому товарищ, а кому серый волк». Дальше было еще интересней. Питаться мы ходили на соседнюю дачу, в бывший дворец какого-то великого князя. Столы стояли на большой террасе. Однажды, после очередной трапезы, кто-то обратился к Булгакову с просьбой объяснить, что такое женщина бальзаковского возраста. Он стал объяснять по роману — тридцатилетняя женщина выбирает себе возлюбленного намного моложе себя, и для наглядности привел пример — вот, скажем, если бы Книппер-Чехова увлеклась комсомольцем. Только он произнес последнее слово, как какая-то особа, побледнев, крикнула: «Товарищи! Вы слышите, как он издевается над комсомолом. Ему хочется унижить комсомольцев! Мы не потерпим такого надругательства!»

Тут с «тронной речью» выступила я. Я сказала, что М. А. не хотел никого обидеть, что тут недоразумение и т. д., но истеричка все бушевала...

Это неожиданное бурное выступление заставило нас насто- рожиться, избегать слова «товарищ» и по возможности не говорить на литературные темы. Теперь по вечерам, когда составлялась партия в крокет, мы (Мака, Леля Светлава и я) уже старались не проигрывать, потому что противники, кроки- руя, стремились загнать наши шары далеко под обрыв, чего мы по-джентльменски себе никогда не позволяли; за шарами надо было опускаться, а значит и подниматься по утомительной крутой каменистой дороге. В общем, после месяца Крыма потянуло нас домой...

Облаянные, вернулись мы оттуда и сразу же задумались над тем, как быть дальше» (13, с. 123—124).

Эти эпизоды заслуживают некоторых замечаний. Возможно, соседи по даче и не знали, что перед ними автор «Дней Турбиных». Просто понятие «интеллигент» приравнялось к презираемым ярлыкам — «господа», «эксплуататоры», «бур- жуи», «мироеды», а чуть позже — «подбулгачники». И, наоборот, комсомол и партия уже тогда возводились, чуть ли не в культ. Булгаков оказался для многих «товарищей» «серым волком». Так или иначе, отдых был изрядно отравлен. К счастью, вскоре Михаила Афанасьевича и Любовь Евгеньевну любезно пригласили на свою подмосковную дачу Понсовы...

Но все-таки Мисхор, расположенный близко к морю и хорошо защищенный от ветров, наверное, поправил здоровье и дал немало приятных впечатлений. Вблизи находились дворцы бывшей знати с прекрасными пляжами, живописные дачи недавних миллионеров... Теперь тут расположились «Коммунист» (потом «Коммунар»), «Магнолия», «Красное знамя», санаторий им. Владимирского, дома отдыха «Хаста-ага», «Рабис», «Нюра». В мисхорском парке находилась и дача, принадлежавшая когда-то Марии Павловне Чеховой и проданная ею в годы гражданской войны Тихомировым-Тезе. Дача была затем национализирована, но одна из башенок с витой лесенкой на второй этаж сохранилась на территории нынешнего санатория «Коммунар». Булгаков, несомненно, слышал о «Чайке»... Пристань украшали «Русалка» в море и две скульптуры на набережной — девушки Арзы и Али-Бабы. Все это были следы прошлого. Например, парк и имение «Кореиз» принадлежали до революции князю Юсупову. В каскаде одного из лучших южнобережных парков, тянувшихся вдоль моря, распо- лагался дворец «Дюльбер», построенный Н. П. Красновым. В 1918-м «Дюльбер» стал последним убежищем членов импера- торской семьи — они вместе с Юсуповым бежали отсюда на английском крейсере. В 1927-м дворец пострадал от землетрясения, но к 1930 году — времени последнего пребывания Булгакова в Мисхоре — восстановлен. Как пансионаты использовались и

шикарные дачи крупных предпринимателей — Морозова, Крестовникова, того же Чичкина, арендовавших земли у Долгоруковых.

За «Дюльбером» по шоссе справа открывался санаторий ЦИКа (бывший Крамарж), рядом «Чаир», бывшее имение Николая Николаевича Романова. В парке находился знаменитый розариум. Помните танго «В парке „Чаир“ распускаются розы»? Тут Булгаков бывал как экскурсант...

В Мисхоре находилась и двухэтажная дача «Нюра», принадлежавшая семье одного из зачинателей крымского виноделия И. Ф. Токмакова. Тут создал свой первый ноктюрн юный С. Рахманинов, написал несколько этюдов художник-передвижник Н. Ярошенко, бывали Е. Ермолова, М. Горький, К. Бальмонт, И. Бунин, Л. Андреев, Ф. Шаляпин.

Булгакова, думается, заинтересовал этот уголок Мисхора...

Невдалеке располагалась Гаспра. В здании с двумя башнями в готическом стиле отдыхал и лечился в начале века Л. Н. Толстой. Дворец облюбовала комиссия содействия ученым при Совнаркомом СССР, открывшая тут «санаторий КСУ». Дальше открывался «Харакс», мыс Ай-Тодор с маяком, Ласточкино гнездо. Оно уцелеет во время землетрясения...

Ласточкино гнездо... И тогда его можно было назвать визитной карточкой Южного бережья. Построенный в 1912 году на Аврориной скале мыса Ай-Тодор, этот причудливый миниатюрный замок с ажурным орнаментом запомнился Булгакову...

«Заглядывали в Алупку», — отмечает Л. Е. Белозерская. От центра Мисхора по нижней дороге Алупка находилась лишь в четырех километрах. В 1921 году тут открылся для обозрения Алупкинский дворец графа М. С. Воронцова, где были собраны картины, мебель, скульптуры из ряда национализированных дворцов. Сооруженный в английском стиле дворец оставил в памяти Михаила Афанасьевича особенно яркий след...

В 1930-м жизненные дороги еще раз привели его в Мисхор. Впервые он приехал в Крым один, накануне решающих перемен в личной жизни. Но начнем с события чрезвычайного — телефонного звонка 16 апреля 1930 года, когда Булгакову позвонил Сталин... На следующий день Михаил Афанасьевич пошел во МХАТ, его встретили очень тепло. Одновременно с зачислением режиссером-ассистентом в этот театр он становится консультантом ТРАМа (Театра рабочей молодежи) и 15 июля уезжает вместе с его артистами в Крым. Утро 16 июля он встретил под Симферополем, откуда писал Любове Евгеньевне: «Крым такой же противенький, как и был». На следующий день последовало письмо из Мисхора: «Устроился хорошо. Погода неописуемо хороша. Я очень жалею, что нет никого из приятелей, все чужие личики. Питание: частным образом, по-видимому, ни черта нет.

По путевкам в пансионате — сносное вполне... Сейчас еду в Ялту на катере, хочу посмотреть, что там».

В это же время с творческим предложением к Булгакову обращается Красный театр. 23 июля из Мисхора в Ленинград полетела пространная телеграмма: «Согласен писать пятом годе условия предоставления мне выбора темы работа грандиозна сдача пятнадцатого декабря... аванс одна тысяча рублей переведенный немедленно адрес Любви Евгеньевны Булгаковой ...сочту началом работы ...случае неприема или запрещения аванс безвозвратен... Булгаков». Можно предположить, что в ожидании ответа в творческом сознании Булгакова уже витал сюжет будущей пьесы. Каково ее содержание — можно лишь догадываться, поскольку директор Красного театра Вольф 3 августа телеграфировал об отказе. Может быть, это была бы пьеса о восстании военных моряков в Севастополе, о «Потемкине»: Булгакову довелось слушать чтение поэмы о лейтенанте Шмидте из уст автора — Бориса Пастернака, да и само пребывание писателя в Крыму способствовало подобным размышлениям. Возможно, творческое воображение уносилось в Петроград, к событиям Девятого января 1905 года. Вероятнее всего, местом действия пьесы должен был стать Петроград — учительская заказ именно ленинградского театра. Параллельно пьесе о 1905-м годе созрел еще один замысел — пьесы о будущей войне.

Не считая огорчительного отказа администрации Красного театра, Булгакову пришлось пережить казус: пришла бумага с вызовом в ... ЦК! Бумага показалась Михаилу Афанасьевичу подозрительной и не зря: это оказалось «милой шуткой» Юрия Олеши.

Еще одна неотступная мысль занимала Булгакова. Вскоре после приезда он шлет телеграмму Елене Сергеевне Шиловской с предложением взять путевку в Крым... Текст ее «зашифрован», ответ ожидается в «Магнолию»... Это было далеко идущее предложение. Шиловская ответила отказом, подписавшись в шутку «Ваша Мадлена Трусыкова-Ненадежная. Мадлена, Мадлена, Лена... Тем не менее, через три года она стала женой Булгакова, стала его добрым ангелом-хранителем, стала его Маргаритой, до конца преданной Мастеру.

И снова поиск — где же находилась «Магнолия»? В книге «Социалистическая реконструкция Южного берега Крыма. Материалы районного планирования ЮБК». (Гос. издательство Крымской АССР, 1935) на 573-й странице значится санаторий для неврологических больных «Магнолия» на 80 мест летом и 60 круглогодично. Еще один справочник тех лет — «Крым» Бор. Баранова, где «Магнолия» числится за «Красным знаменем». Следовательно, они где-то рядом.

После расспросов старожилов, работавших в «Красном знамени» еще до войны, находится разгадка. В конце XIX века Н. П. Краснов построил для великого князя Петра Николаевича дворец в мавританском стиле — «Дюльбер». Выше, через дорогу, находились хозяйственные службы и жил управляющий имением. Тут-то и был организован пансионат, а затем санаторий «Магнолия».

Пансионат «Магнолия» располагался по дороге в Верхний Мисхор. Невдалеке начинались сосновые рощи. Тишина, аромат хвои, весьма уединенный двор, обсаженный несколькими магнолиями, — возможно, тут Булгаков думал о своей миротворческой пьесе «Адам и Ева», о необходимости предотвратить, пусть художественными средствами, идею глобальной войны. Конечно же, он предполагал, что его пацифистская пьеса (а пацифизм в те времена рассматривался как «буржуазное политическое течение») застрянет еще при читке. Тем не менее, Михаил Афанасьевич, не колеблясь, сказал то, что считал нужным. Провидческую пьесу можно назвать его нравственным вердиктом в отношении братоубийства.

«Требуется что-то радикальное... Я полагаю, что чтобы спасти человечество от беды, нужно сдать такое изобретение всем странам сразу», — говорит герой пьесы Александр Ипполитович Ефросимов. Человек этот, и по манерам, и по лексике, — дитя минувшего века.

А название «Адам и Ева»... Тут, очевидно, сказалась личная драма любви. Предстоит еще один решающий поворот, и в жизнь Михаила Афанасьевича войдет Елена Сергеевна Шиловская.

В начале августа Булгаков покидает Мисхор. 6 августа он пишет К. С. Станиславскому: «Вернувшись из Крыма, где я лечил мои больные нервы после очень трудных для меня последних лет, пишу Вам простые неофициальные строки...» Начинается его долгий московский полет.

От берегов Сурожа

«Бул-мещанин и по-мещански подошел к событиям...» Этот отрывок из переписки между друзьями у Булгакова по поводу триумфа «Дней Турбиных», приводимый М. О. Чудаковой в «Жизнеописании», наглядно подтверждает, что зависть в среде литераторов доставляла Мастеру немало горьких минут. Причем усердствовал не только РАПП... Все эти Ликоспастовы и Агапеновы — персонажи личной «Дьяволиады» с их реальными прототипами встают в «Театральном романе» в их жалком двоедушии. Но, к счастью, рядом и совсем другие люди —

настоящие почитатели таланта писателя. Пожалуй, особое место в булгаковской жизненной спирали тех лет принадлежит семье композитора Александра Афанасьевича Спендиарова. В начале 1927 года Михаил Афанасьевич познакомился с Мариной Спендиаровой, дочерью выдающегося музыканта. Она пела, рисовала, была талантливым педагогом — Михаил Афанасьевич и Любовь Евгеньевна совершенствовались у нее во владении английским языком. Марина Александровна познакомила Михаила Афанасьевича с отцом. Спендиаровы встретили у Булгаковых Рождество. По воспоминаниям дочери, Спендиаров был несколько мрачен, говорил о накопившихся у него неприятностях. Чувствовалось, что в сутолоке Москвы он соскучился по морю и тишине.

В этих беседах вспомнилось, что Александр Афанасьевич, живший в Ялте с 1901 года, был автором мелодекламации «Мы отдохнем», где звучал монолог Сони из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня», так перекликавшийся с мотивами «Дней Турбинных», что им сочинены элегия «Несжатая полоса» на стихи Н. А. Некрасова, вокальный квартет на стихи М. Ю. Лермонтова. Спендиаров как бы символизировал единство слова и музыки. От Александра Афанасьевича Булгаков, страстный любитель музыки, мог слышать, что в его ялтинском доме бывали А. С. Аренский, А. Т. Гречанинов, Ц. А. Кюи, Ф. И. Шаляпин. С 1916-го А. С. Спендиаров жил преимущественно в отдаленном от шумных мест Судаке...

Булгаков и Спендиаров сблизились, понравились друг другу. Это и привело к еще одной поездке в Крым.

«Лето. Жарко. Собрались на дачу к Спендиаровым, — пишет Л. Е. Белозерская. — Двухэтажный обжитой дом на самом берегу моря, можно накинуть халат и бежать купаться. Наша комната темноватая и прохладная.

Народу много — большая спендиаровская семья: мама (папа в отъезде), четыре дочки: Татьяна, Елена, Марина, Мария и два сына — Тася и Леся. Сюда же приехали двое Лямыных (ближайшие друзья Булгакова. — *Авт.*), и М. А., пробив недолго, уехал обратно в Москву, пообещав вернуться за мной. За время его отсутствия мы с Лямыными успели побывать на горе Сокол, с которой чуть было не свалились, в Генуэзской крепости, в Новом Свете...» (13, с. 141).

Итак, семья Спендиаровых. На фотографии 1925 года мы видим трех дочерей Александра Афанасьевича. В центре Марина. Приводим выдержку из воспоминаний о ней музыканта А. Ермолинского с любезного его согласия. «В 1923 году в Феодосию приехали родственники князя Голицына, известного винодела в Новом Свете, Елена Львовна и Надежда Львовна.

Одновременно из Судака приехал их сосед по даче, старый знакомый, композитор Спендиаров. Он часто навещал Голицыных со своей дочерью Мариной, которой было 20 лет, обладательницей приятного меццо-сопрано. В каждое их посещение шло непрерывное музицирование. В то время композитор заканчивал оперу «Алмаст». Он знакомил нас с ее отрывками. Марина исполняла некоторые арии...

Спустя годы мне удалось свидетельствовать с Мариной Александровной при довольно печальных обстоятельствах. В 1946—1947 годах наш музыкальный коллектив из Ленинграда был направлен на гастроли в Коми АССР. И вот во дворце культуры в Ухте встречаю Марину... В то время здесь было сосредоточено много заключенных артистов, составивших оперный, опереточный и драматический коллективы. Артисты были расконвоированы, но находились под неусыпным наблюдением... Я перекинулся с Мариной несколькими словами, она успела сказать, что этого делать не стоит... Судьба ее в ссылке обернулась ужасно. Кто-то поджег ухтинский дворец культуры, все артисты были разосланы по лагерям. М. Спендиарова попала не то в Тайшет, не то в Абакан, где была прикована к тачке.

Марина Александровна умерла в 1984 году. На Севере провела десять лет, была арестована за высказывания против сталинских репрессий. Впоследствии она была реабилитирована и приезжала в Ленинград по делам переиздания своих книг об отце. При ее участии была создана квартира-музей А. Спендиарова в Ереване. Мы вспомнили былое. По старой памяти она спела несколько романсов под мой аккомпанемент...»

Продолжим рассказ.

Из Судака Булгаковы на моторной лодке — мы уже упоминали об этом романтическом путешествии — поплыли в Ялту. Так пришел тот памятный май, когда появилась запись Булгакова в чеховском доме: «Я вернусь...»

Судак, Сугдея, Сурож... Этот древний город, являющийся в период Киевской Руси крупнейшим портом на Черном море, очевидно, ассоциировался в воображении Булгакова с Херсонесом. Думается, он побывал в Генуэзской крепости, видел шестнадцать ее башен, в том числе легендарную Девичью, предместное укрепление, церковь Двенадцати апостолов. Все это чем-то напоминало Каменец-Подольский, мосты под каньоном, двенадцать башен крепости, костелы и минареты — город его врачебной юности...

В Москве решался вопрос о постановке в Камерном театре «Багрового острова», был заключен договор с МХАТом на пьесу «Рыцарь Серафимы». Требовали личного присутствия квартир-

ухала за границу. Сын Качалова Вадим Шверубович, мобилизованный в белогвардейский полк, как и Булгаков, освободился от службы, заболев тифом. Он ездил с трупой под вымышленной фамилией «Вадимов» и ходил в костюме чеховского персонажа Гасва. Шверубович хорошо знал Булгакова по Художественному театру и написал о нем воспоминания (В. Шверубович. «О старом Художественном театре» — М.: Искусство, 1990).

Все ближе Ялта. Лодка минует Никиту, Ай-Даниль, Массандру — все это отразится в булгаковских строках. Например, Степа Лиходеев, по наветам Варенухи, в кураже, в чебуречной «Ялта» в Пушкино, якобы разобьет восемь бутылок «Ай-Даниля»... Возможно, на Исаре «Ай-Даниль» дегустировал и Булгаков... И вот Любовь Евгеньевна и Михаил Афанасьевич сходят на берег... Прекрасный, незабываемый май 1927 года...

Позднее в блистательной главе романа «Мастер и Маргарита» «Бью дело в Грибосдове» в исторически реальном доме, где писатель разместил Массолиг, Булгаков упоминает эти места, но в остросатирической форме: «...открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. (Винтовка как атрибут советской власти у Булгакова появляется неоднократно, и в «Адаме и Еве» он приводит ужасную песенку, которую поют дети: «Винтовочка, бей, бей...» — *Авт.*). Пониже — пальмы и балкон, на балконе — сидит молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)». У этой двери тоже была очередь...»

Да, Двубратские и Лавровичи процветали. Следует заметить, что это реальная сцена. В своем дневнике Е. С. Булгакова пишет: «При мне в этот же отдел (Литфонд) зашел весьма невзрачного вида человек, судя по всему, член ССП. Он хлопотал, чтобы ему выдали путевки. И в это время другая служащая вошла и сказала ему, что его просьба о 20-тысячной ссуде удовлетворена» (30а, с. 190).

Благословенное место... Несчастный Иван Бездомный не зря твердит что-то о путевке «в санаторий Ялту».

Писатели и псевдонимы благодушествовали в Домах творчества — во всех этих Цихидзири, Суук-Су, Махинджаури. А Булгаков в это самое время, в июле 1938-го писал из Москвы: «Сижу безутешен. Нет „акта выверки суммы пасвых взносов“. Подозреваю, что его и не было. Ведь я-то должен был предвидеть, что лишь только уедем, как эта бумага с

выплатного пункта придет. Все надежды разбиты... Вот тебе и „Дон-Кихот”, вот тебе и правка романа. Вооружаюсь сейчас теми филькиными грамотами, что нашел, и иду на адские мучения...» И следующее письмо Елене Сергеевне Булгаковой в тот же день в обеденную пору: «Ура! Документы нашлись... Жадно гляжу на испанский экземпляр „Дон Кихота”. Теперь займусь им».

«Буду ли я знать суд читателей, никому не известно»,— сомневался Мастер. Том с его романами вышел уже после кончины Елены Сергеевны. Так началось их бессмертие...

Глава 4. «БЕГ» НА КАРТЕ ИСТОРИИ

«Еще один или два сна...»

«Сиваш, Сиваш заморозил господь бог... Вы ему в ноги бух, а он нас на Перекопе в пух! Фрунзе по Сивашу, как по паркету, прошел!» «Полетите к генералу Барбовичу, на Карпову банку, спуститесь, передадите приказ — от неприятеля оторваться, рысью итти на Ялту и грузиться на суда!» «С Чонгарской дефиле, ваше превосходительство, согласно приказания, сводная дивизия подошла!» «Ординарца к генералу Кутепову: мгновенно оторваться и форсированно итти в Севастополь, Фастикову — с кубанцами в Феодосию, Калинин — с донцами в Керчь, Чарноту вернуть в Севастополь! Я сдаю Крым!»

Эти полные нарастающей тревоги слова из пьесы Михаила Булгакова «Бег» переносят нас в холодную осень 1920 года, когда пал Перекоп и дело генералов Врангеля, Кутепова, Слащова оказалось проигранным. Эпопея поражения белого движения, отображенная в пьесе, разворачивается по всему Крыму, и мы как бы видим и укрепления Чонгара, и мрачный Литовский полуостров, и Сиваш в густом мглистом тумане, по которому в полном безмолвии продвигаются части Блюхера, и смертельные столкновения под Юшунью и Карповой балкой.

Мы чувствуем напор и дыхание красных полков, однако в изнеможении и решимости, в чертах отталкивающих и привлекающих видим и противоборствующую сторону. Один из немногих, а может быть, и единственный объективный историограф того времени, проживающий не в Берлине или Париже, а в Москве, Булгаков сумел и посмел подняться над

красными и белыми, увидев бедствие всего народа, невзирая на происхождение и биографию, соединив всех матерей, оплакивающих своих сыновей. И хотя по пьесе можно судить, что дивизиями Красной армии руководили умелые командиры, а ее бойцы проявляли чудеса храбрости и бесстрашия, объективного отношения к тем, кто оказался в стане погибающих, писателю не простили. Талантливое произведение постигла трагедия...

Как же погибло его самое выстраданное дитя? В январе 1928 года Булгаков подписал с МХАТом договор на пьесу «Бег», а в апреле театр начал работу над ее постановкой. Но уже в мае на заседании Главреперткома «Бег» был расценен как произведение «неприемлемое». Отмечалось, что автор сознательно отходит от какой бы то ни было характеристики своих героев, принявших Советы, в разрезе кризиса их мировоззрения и политического оправдания своего поступка... Все это — агония больших героев, легендарных генералов, и даже Врангель по характеристике автора «храбр и благороден».

Однако театр, как и два года назад, когда решалась судьба «Дней Турбиных», продолжал борьбу за пьесу. 9 октября В. И. Немирович-Данченко устроил новое обсуждение «Бега» с участием А. М. Горького, который горячо поддержал театр и драматурга и предсказывал спектаклю невиданный успех.

Характерно и мнение начальника Главискусства видного писателя партии А. И. Свидерского: «Из всех прочитанных мною пьес лучшая пьеса «Бег». Если она будет поставлена, она произведет сильнейшее впечатление... По существу дела пьеса чрезвычайно приемлема, ибо в художественной форме показывает банкротство эмиграции...»

11 октября «Правда» сообщила, что «Бег» разрешен. В тот же день в МХАТе, руководимом В. И. Немировичем-Данченко, в постановке И. Я. Судакова начались его репетиции. Роли распределились так: Серафима — А. К. Тарасова, Люська — О. Н. Андровская, Чарнота — В. И. Качалов, Хлудов — Н. П. Хмелев, Корзухин — В. Л. Ершов, Голубков — М. И. Прудкин и М. М. Яншин, главком — Ю. А. Завадский и Б. С. Малолетков, Тихий — В. А. Синица, Африкан — И. М. Москвин и М. Н. Кедров. Лучшие актеры театра мечтали играть «Бег» перед зрителями... И это предпочтение пьесам Булгаков в течение 20—30-х годов, вплоть до крушения «Мольера», было закономерно для взаимоотношений писателя и МХАТа. Вот, быть может, самое авторитетное свидетельство: «Из всех пишущих для сцены я чувствую драматурга настоящего только в трех — Булгаков, Афиногенов и Олеша», — подчеркивал в 1931 году В. И. Немирович-Данченко.

Но вскоре гонители Булгакова — драматург В. Киршон, руководитель РАППа Л. Авербах и редактор журнала Главреперткома А. Орлинский — на новом заседании политико-художественного совета реперткома вновь высказались против пьесы. Ее запрещение было поддержано прессой, И. Бачелис в статье «Тараканий набег» («Комсомольская правда», 23 октября 1928 года) в издевательских тонах писал о намерении МХАТа «проташить булгаковскую апологию» белого движения, написанную «посредственным богомазом»... Что мог поделать «богомаз»? 25 января 1929 года в журнале репетиций театра появилась последняя запись о работе над «Бегом»...

Между тем это была любимая пьеса Михаила Афанасьевича. Он любил эту пьесу, писала Е. С. Булгакова, как мать любит своего ребенка. Запрещение «Бега» было для него почти катастрофой...

В атаку ринулась и рапповская рать с наиболее авторитетными партийными мандатами, жаждавшая крутых мер. Особую бдительность и рвение проявил автор пьес «Эхо», «Шторм», «Лево руля» В. Билль-Белоцерковский. Он обратился к Сталину с письмом, где предупреждал «о правой опасности», исходящей со стороны пьес Булгакова. Сталин донос заметил, написав В. Билль-Белоцерковскому собственноручно ответ. И хотя он был опубликован в собрании сочинений Сталина лишь двадцать лет спустя, для судеб «Бега» это мнение было решающим.

Сталин аттестовал пьесу как «явление антисоветское». Впрочем, тут же оговаривается он, «я бы не имел ничего против постановки „Бега“, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или даже два сна, где бы он изобразил внутренние социальные причины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему честные Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому что они сидели на шее у народа (несмотря на свою „честность“), что большевики, изгоняя вон этих „честных“ сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступили поэтому совершенно правильно... „Бег“ есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины,— стало быть попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело» (70а, II, с. 326—327).

По отношению к Булгакову лично Сталин не был враждебно настроен, подчеркивает А. А. Нинов. Скорее наоборот, многое в булгаковских пьесах ему нравилось, и «Бег» он, бесспорно, читал в рукописи. Тем не менее его жесткая общая линия, его политика превращения неугодного в «антисоветское», а нейтрального во «враждебное» имела самые пагубные последствия и для Булгакова, и для многих других писателей той поры.

Но, даже подчиняясь давлению, МХАТ свято верит в Булгакова. Вот упоминания о нем в письмах В. И. Немировича-Данченко. В сентябре 1930 года он интересуется булгаковским планом «Мертвых душ», а в ноябре спрашивает, привлечен ли В. И. Качалов Сахновским и Булгаковым к совместной срочной работе по тексту «Мертвых душ». «Из старой литературы мне приятней всего думать о „Войне и мире“». Булгаков обещал, кажется, дать синопсис (обозрение, свод), — пишет Владимир Иванович в мае 1932 года. А вот строки из его письма К. С. Станиславскому от 4 декабря того же года: «Дорогой Константин Сергеевич! От всего сердца благодарю Вас за радостную телеграмму о первых спектаклях «Мертвых душ». Шлю горячий привет всем участвующим, Вам, Сахновскому, Булгакову, Телешовой и всему театру».

«Бег» в этих письмах не упоминается, но в театре думают о замечательной пьесе, причем здесь, очевидно, хорошо известна суть замечаний и пожеланий Сталина. 16 сентября 1931 года режиссер П. А. Марков сообщил В. Н. Немировичу-Данченко: «Последние дни у нас в театре очень часто бывает Максим Горький... Он рекомендовал Булгакову переделать в „Беге“ Серафиму и Голубкова в последних картинах, так как именно четкость их характеристик в последних действиях мешают верному и нужному пониманию пьесы». Что это, как не совет выполнить сталинскую установку! Но Булгаков так и не предлагает новых снов.

Булгаков, Булгаков, Булгаков... О, как он раздражает... «Борьба вокруг булгаковских пьес была, по существу, борьбой реакционных и прогрессивных группировок внутри театра и вокруг него. Хотя и с опозданием, прогрессивные элементы победили», — пишут «Известия» в 1929 году, пользуясь примитивными, но всемогущими политическими штампами. В том же году на премьере «Клопа» В. В. Маяковского профессор размораживает Присыпкина и листает словарь «умерших» слов: «Буза... Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков...» Вдумаемся в это сочетание: «Буза... Богоискательство... Бюрократизм... Булгаков...

Михаил Афанасьевич прекрасно осознает, чем оборачивается для него пожелание переделать «Бег». А ведь это его решающая творческая ставка. В июле 1931-го он пишет в письме В. В. Вересаеву: «...Один человек с очень известной литературной фамилией и большими связями... сказал мне тоном полууверенности: „У нас есть враг...”

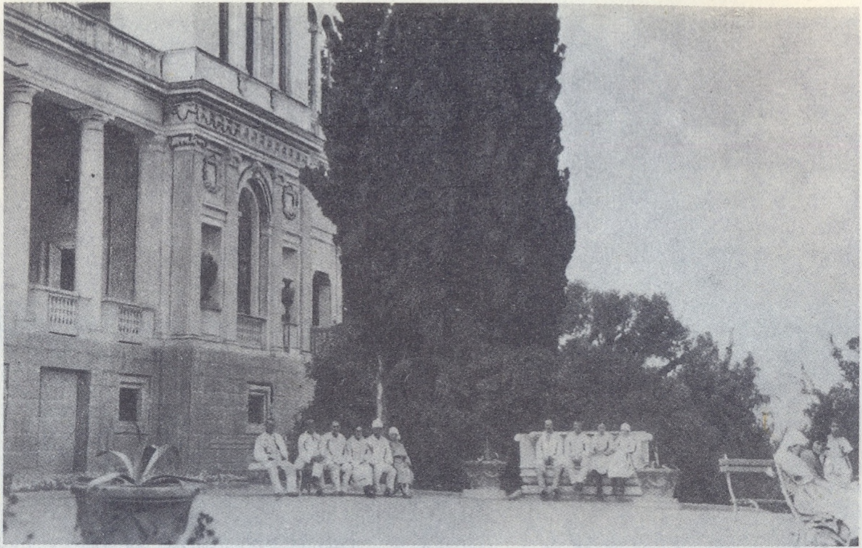
Я стал напрягать память. И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии! Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из „Бега”). Вот они мои враги! Недаром во время бессонниц



29. Вид Ялты со стороны Ливадии. (Фотография начала XX в. из коллекции В. Навроцкого).

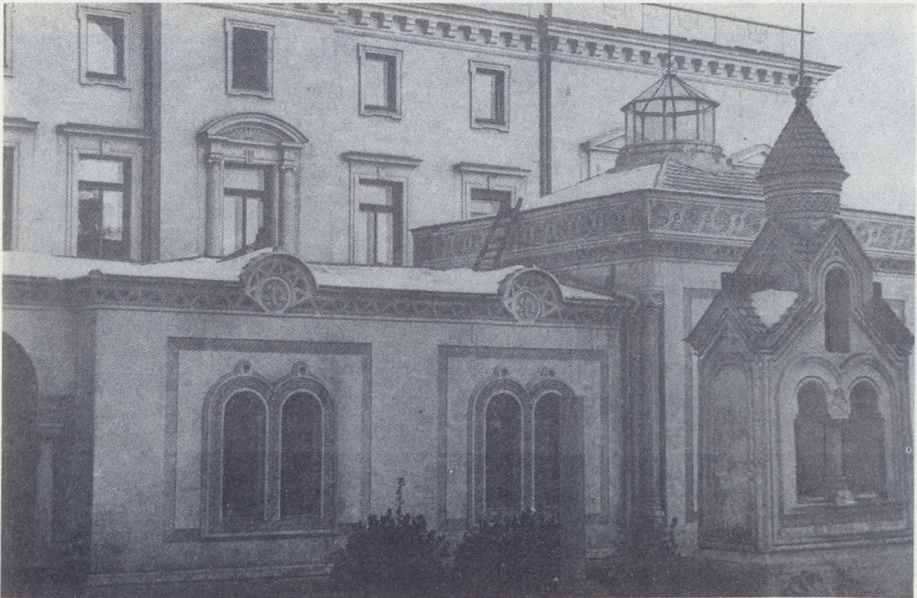
30. У фонтана в Гаспре. (Фотография 1920-х гг., из коллекции В. Навроцкого).





31. Ливадия. Крестьянский санаторий в бывшем царском дворце. Фотография 1925 г.

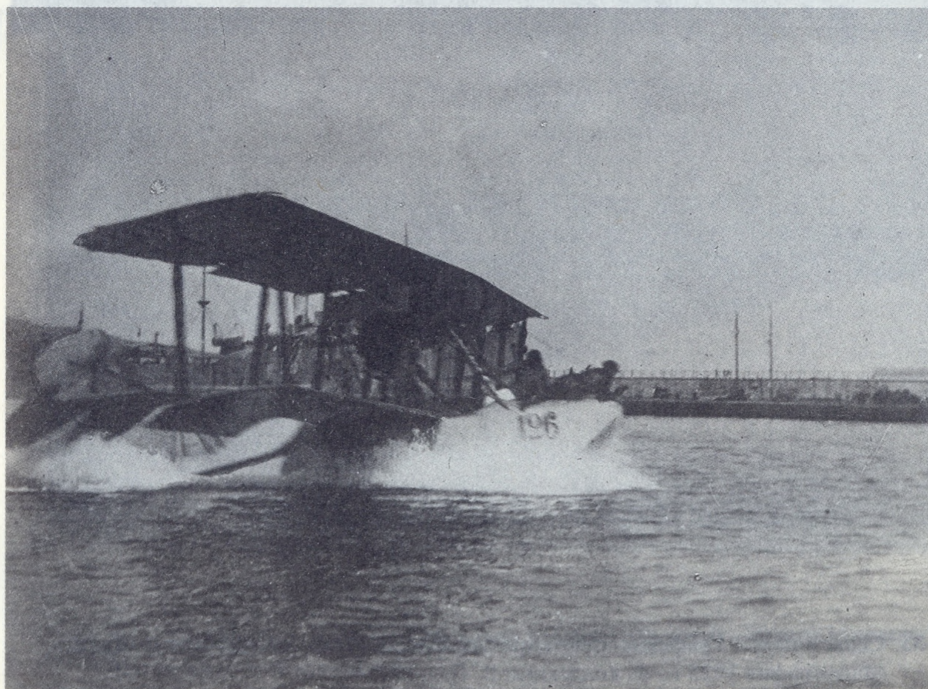
32. Ливадия. Крестовоздвиженская церковь Ливадийского дворца. (Фотография 1920-х гг., из коллекции В. Навроцкого).





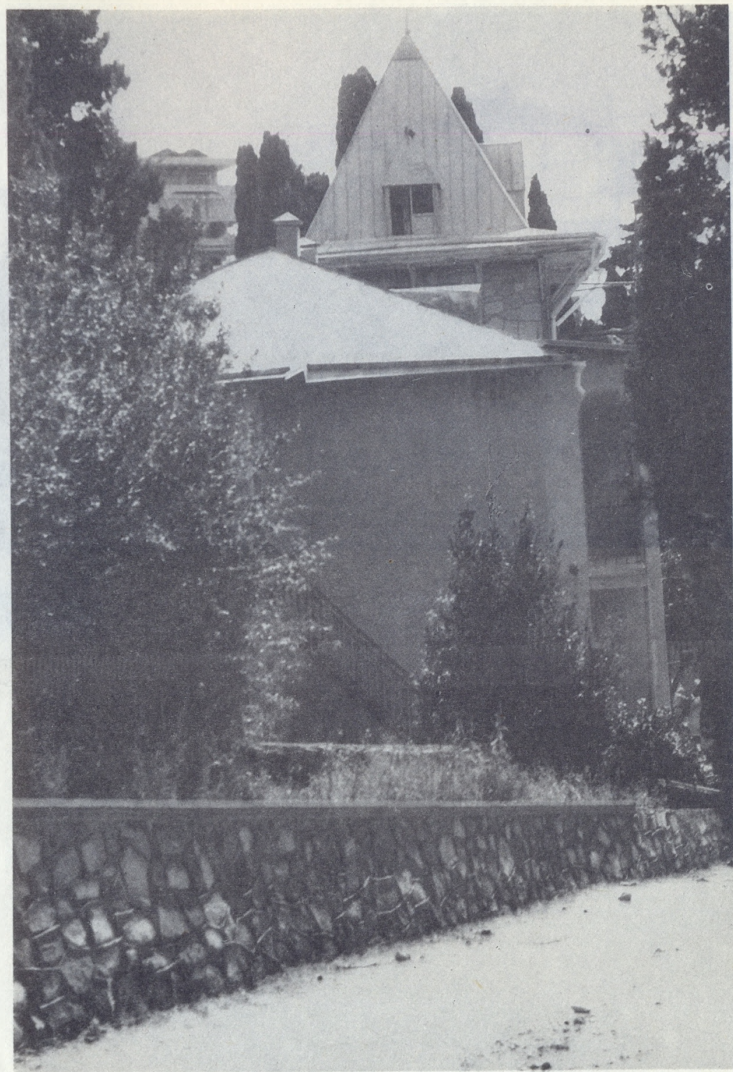
33. Ялта, набережная. (Фотография 1920-х гг., из коллекции В. Навроцкого).

34. Гидроплан в акватории Ялтинского морского порта. (Фотография 1920-х гг., из коллекции В. Навроцкого. Публикуется впервые).

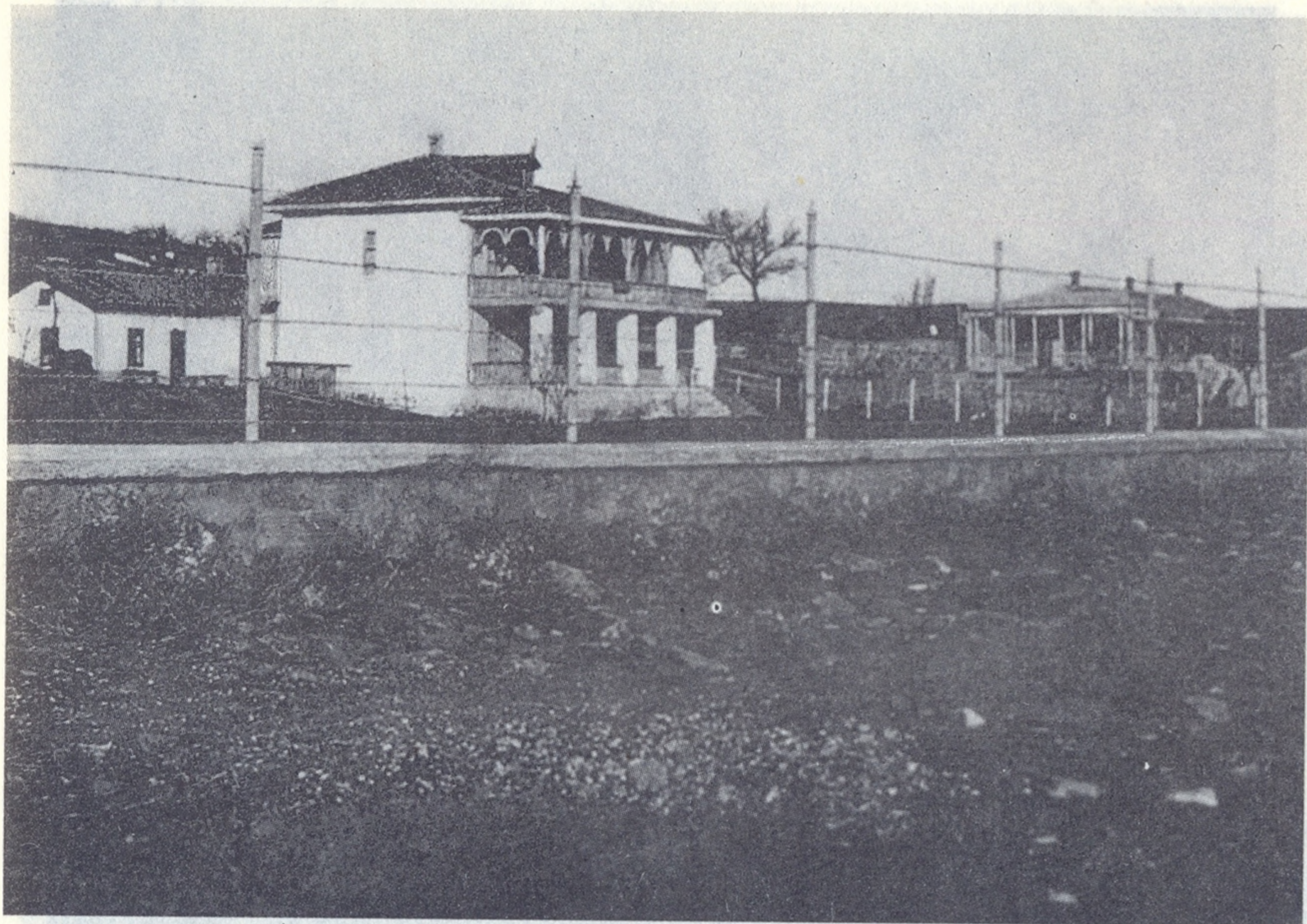




35. Севастополь, Графская пристань (за колоннадой — гостиница Киста).
(Фотография 1925 г., из коллекции В. Навроцкого).



36. Дача Чичкина в санатории «Морской прибой» (бывший «Новый Мисхор»).
Фотография В. Навроцкого.



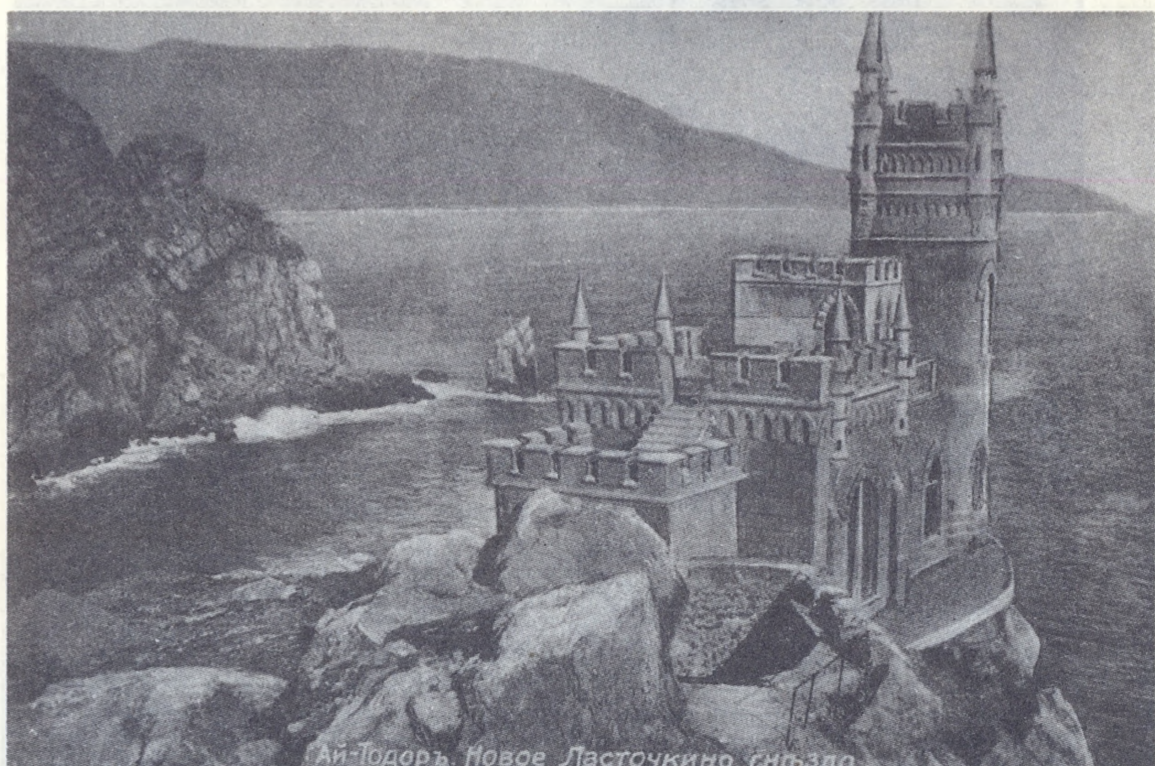
37. Судак. Дачи И. Айвазовского и А. Спендиарова. (Фотография начала XX в., из коллекции В. Навроцкого).



38. Композитор А. А. Спендиаров. 1926. (Фотография из фондов Ялтинского объединенного историко-литературного музея).



39. Дочери А. Спендиарова (в центре — Марина). 1927. (Фотография из фондов Ялтинского объединенного историко-литературного музея).



40. Ай-Тодор, дача «Ласточкино гнездо». (Фотография 1925 г., из коллекции В. Навроцкого).



41. Вид на водопад Учан-Су, близ Ялты. С открытки начала XX в. (Из коллекции В. Навроцкого).



42. М. Булгаков на водопаде Учун-Су, 1927. (Фотография из Мемориального фонда Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. Публикуется впервые).



43. Ялта, гостиница «Крым» (бывший доходный дом Мордвинова).



44. Ялта, гостиница «Палас» (бывший пансионат Тихомирова). Фотография В. Навроцкого.



45. Генерал Я. Слапов-Крымский. (Фотография 1920-х гг., из коллекции В. Навроцкого).

Я. СЛАЩОВ

КРЫМ

В 1920 Г.

отрывки
— ИЗ —
воспоминаний

предисловие Д.Фурманова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



47. Бывший пансионат «Магнолия». (Фотография В. Навроцкого).

48. Ялта, 1927 год. Набережная на второй день после землетрясения. Очередь у билетных касс. (Фотография из коллекции В. Навроцкого. Публикуется впервые).





49. М. Булгаков. Фотография середины 1920-х гг.

приходят они ко мне и говорят со мной: „Ты нас породил, а мы тебе все дороги преградим”».

Но вдруг автору возвращена надежда. Во МХАТе, с высочайшего соизволения, вновь идут «Дни Турбиных». Театр предпринимает попытку возродить «Бег». 10 марта 1933 года возобновляются репетиции. Они продолжаются более полугода, до 15 октября.

С автором заключен новый договор и даже выплачен гонорар. Чрезвычайно много стараний для спасения «Бега» прилагает режиссер И. Я. Судаков. Он пишет в дирекцию МХАТа, что имел разговор с О. С. Литовским о пьесе и получил от него заключение: «Бег» будет разрешен, но «необходимо в пьесе ясно провести мысль, что белое движение погибло не из-за людей хороших или плохих людей, а вследствие порочности самой белой идеи,— это основное требование».

О. С. Литовский, являвшийся представителем Главреперткома, принадлежал к недоброжелателям М. А. Булгакова, но он чувствовал: Кремль все же благосклонен к «Бегу» с дополнительными или переделанными сценами...Для спектакля вновь обнадёживающе засветилась рампа...

В договоре, однако, были перечислены конкретные изменения, которые должен произвести автор: «переделать в последней картине линию Хлудова, дабы она привела его к самоубийству как человека, осознавшего беспочвенность своей идеи; переработать последнюю картину по линии Голубкова и Серафимы так, чтобы оба эти персонажа остались за границей; наилучше разъяснить болезнь Хлудова, связанную с осознанием порочности той идеи, которой он отдался».

Булгаков переделал финал пьесы: Хлудов кончил жизнь самоубийством, Серафима и Голубков остались в эмиграции. Характерно, что в сентябре 1933 года Михаил Афанасьевич писал брату, врачу-бактериологу Н. А. Булгакову, в Париж: «В „Беге” мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и никак не нарушают писательской совести, я их сделал».

9 ноября 1934 года на новом тексте финала пьесы рукой Булгакова было написано «Окончательный вариант».

Но, увы, опять не дано. Из репертуара театра ушел спектакль, практически готовый к выпуску и выводящий МХАТ на высоты талантливого освещения реальных событий с осуждением слепого убийства. И все же произведению самого одаренного после Чехова мхатовского автора здесь были вынуждены предпочесть комедию под банальным названием «Чудесный слух».

Последний раз Михаил Афанасьевич обратился к тексту многострадального своего произведения в сентябре 1937 года, когда вновь забрезжила надежда на постановку — экземпляр «Бега» запросили из Комитета по делам искусств. И опять последовал запрет. Он был связан, очевидно, и с атмосферой «ежовщины», когда днем все с воодушевлением пели «Широка страна моя родная», а ночами в страхе прислушивались к шагам в подъезде, ожидая непрощенных гостей из НКВД. В Москве почти совсем исчезли мужчины в галстуках, со вкусом одетые женщины и вообще люди интеллигентного вида, заметные на улицах всякой другой столицы. «На рассвете начинаю глядеть в потолок и тарану глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь — кепка, платок, платок, кепка», — писал он Вересаеву.

«Бег» увидел огни рампы лишь в 1957 году в Волгограде, спустя 30 лет после его написания и через 17 лет после кончины Михаила Афанасьевича...

Но вернемся в 1926-й. Пьеса состоит из восьми картин — снов, с эпиграфами. Четыре из них относятся непосредственно к Крыму: «...Мне снился монастырь»... «...Сны мои становятся все тяжелее...» «...Игла освещает путь Голубкова», «И отпавшие сыны Израилевы...» Череда событий четко намечена. «Сон первый, — пишет Булгаков, — происходит в Северной Таврии, в октябре 1920 года. Второй сон — где-то в Крыму, в начале ноября 1920 года. Третий и четвертый — в начале ноября в Севастополе». Описываемое время сжато, как пружина...

В ремарках Булгаков, хотя и лаконичен, но чрезвычайно точен. Эти особенности пьесы восходят к ее первоначальному варианту. Вот описание Джанкоя в часы катастрофы: «Возникает зал на неизвестной и большой станции на севере Крыма. На заднем плане зала необычных размахов окна. За ними чувствуется черная ночь с голубыми электрическими лунами.

Случился зверский, непонятный в начале ноября месяца в Крыму мороз. Сковал Сиваш, Чонгар, Перекоп и эту станцию (поэзе из слов генерала Хлудова мы узнаем, что перед нами Джанкой. — *Авт.*). Окна оледнели, и по ледяным зеркалам время от времени текут змеиные огненные отблески от проходящих поездов. Горят переносные железные черные печки, горят керосиновые и электрические лампы на столах.

В глубине, над выходом на главный перрон под верхней лампой, надпись по старой орфографии: „Отделение оперативное“.

Стеклопанная перегородка, в ней зеленая лампа казенного типа и два зеленых, похожих на глаза чудовищ, огня кондукторских фонарей. Рядом со стеклопанною перегородкою на темном облупленном фоне белый юноша на коне коньем

поражает чешуйчатого дракона... и перед ним горит грансная разноцветная лампада.

Зат занят офицерами генерального штаба. Большинство из них в башлыках, в паушниках...

Бесчисленные полевые телефоны, штабные карты с флажками, пишущие машины в глубине. На телефонах то и дело вешиваются разноцветные сигналы, телефоны поют нежными голосами.

Штаб фронта стоит третьи сутки на этой станции и третьи сутки не спит, но работает, как машина...» (2, I, с. 100).

Это первическое напряжение сосредоточено на одном человеке — генерале Романе Валериановиче Хлудове, сидящем за конторкою на высоком табурете. «Человек этот лицом бел, как кость, волосы у него черные, причесаны на вечный неразрушимый офицерский пробор. Хлудов курнос, брит, как актер, кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые... Фуражка защитная, грязная, с тусклой кокардой, на руках варежки. На Хлудове нет никакого оружия.

Он болен чем-то, этот человек, весь болен, с ног до головы. Он морщится, дергается, любит менять интонации. Задает самому себе вопросы и любит на них сам же отвечать. Когда он хочет изобразить улыбку — скалится. Он возбуждает страх...»

Мы еще вернемся к Хлудову и его прообразам. Но вникнем в творческую манеру Булгакова, в стиль его работы при создании «Бега». По воспоминаниям А. Е. Белозерской, он то и дело обращался к военным топографическим картам и другим документам времени. «Помню, что на одной из карт были изображены все военные передвижения красных и белых войск и показаны, как это и полагается на военных картах, мельчайшие населенные пункты,— пишет Любовь Евгеньевна. — Карту мы раскладывали и, сверяя ее с текстом книги (Я. Славцев, Крым в 1920 году. Отрывки из воспоминаний. — М.-Л.: ГИЗ, 1923), прочерчивали путь наступления красных и отступления белых. Поэтому в пьесе так много подлинных названий, связанных с историческими боями и передвижением войск: Перекоп, Сиваш, Чонгар, Курчудан, Алманайка, Бабий Гай, Арабатская стрелка, Таганаш, Юшунь, Керман-Кемальчи» (13, с. 125).

Кажется, еще никто не называл Булгакова военным писателем, но мы вправе поставить его в эту когорту, возглавляемую Л. Н. Толстым. В 1923 году в очерке «Киев-город» Булгаков предсказывал появление изумительной книги о великих боях в Киеве. Такой книгой стала «Белая гвардия», а затем «Бег» — о боях в Крыму. Отметим, кстати, что на упоминаемых картах военных действий встречается и обозначение «Булгаков». Так называется хутор, где располагался командный пункт штаба 51-й

Московской стрелковой дивизии, штурмовавшей юшуньские укрепления — последнюю надежду белых. Такого рода совпадения, очевидно, оседали в памяти писателя. Обращаясь к Джанкою как символу катастрофы белых Михаил Афанасьевич, возможно, вспомнил и свой приезд сюда в 1925-м, и, в частности, встречу с продюгшим начальником станции...

«...Мне снился монастырь...» Сон первый происходит в Северной Таврии, в октябре 1920 года. Где же находилась эта обитель и отражает ли сон реальность? О точности пера М. А. Булгакова свидетельствует источник, с которым он не мог не быть знаком. Это письмо М. И. Калинину (копии В. И. Ленину, Л. Д. Троцкому, Л. Б. Каменеву), направленное в 1921 году из Бутырской тюрьмы бывшим командующим Второй конной армией героем гражданской войны Ф. К. Мироновым, арестованным по клеветническому обвинению и погибшим в застенках через три дня после этого обращения. Письмо Ф. К. Миронова было опубликовано в 1989 году Р. Медведевым.

Напоминая о своей роли в борьбе с Врангелем, Ф. К. Миронов пишет: «К Вам обращается тот, кто 25 октября 1920 года в Вашем присутствии на правом берегу Днепра у села Верхне-Тарновское звал красных бойцов 16-й кавдивизии взять в ту же ночь белевший за широкой рекою монастырь».

А вот то же событие по книге Я. А. Слещова (издание 1923 года). Именно из этой книги мы воспроизводим военные карты. На с. 108—109 он четырежды упоминает Корсунский монастырь, находящийся на левом берегу Днепра. «Наступательный порыв красных был сломан и не воскресал до октября в районе Корсунского монастыря». Но тучи вновь сгущаются. Врангель вынужден прибегнуть к совету отстраненного Слещова. И снова Слещов говорит об операции на правом берегу Днепра: «... я полагаю, этот план запоздал... всю массу войск следует отвести в Крым». Это мнение генерала, не потерпевшего ни одного поражения и всегда побеждавшего лишь малой кровью. Иначе случится непоравимое... «Ваши армии стоят растянутые по фронту в несколько верст, и прорыв противника в одном месте приведет его к перешейкам раньше других Ваших частей, которые должны будут бежать наперегонки, спасая свою жизнь». Слещов говорит о предстоящем бегстве по отношению к соединениям генералов Витковского, Кутепова, Абрамова еще дважды. Не отсюда ли, собственно, исходит важный импульс к окончательному пазванию пьесы?

Однако Врангель ответил: «Ну, ваши нервы еще расстроены. Вам всюду мерещатся опасности, которых нет...»

Врангель наступает, а затем вдруг у Каховки был снят корпус Витковского и предсказанное Слащовым бегство началось. Последняя встреча Слащова с Врангелем в Джанкое. «Врангель: — Вы знаете, Буденный здесь (пальцем ткнул в Алексеевку)... Я: — „Откуда он, с неба или с Каховки?“ Врангель: — „Шутки не уместны, конечно с Каховки“».

Не удовлетворяясь только этими данными, мы обратились к книге «Таврическая епархия» Гермогена, епископа Псковского, бывшего Таврического и Симферопольского (1887). Здесь перечисляются все монастыри Таврической епархии, в том числе Херсонский, Балаклавский, Бахчисарайский, Корсунский и другие. Корсунский монастырь находился между Каховкой и Алешками на левом берегу Днепра. Это и есть Курчулан.

Но перенесемся под своды монастыря. Здесь скрываются беременная Барабанчикова, химик Махров, Серафима и приват-доцент Голубков. Стена построена по гротесковому принципу: беременная дама оказывается белым генералом Чарнотой, химик — преосвященным Африканом. Как в калейдоскопе, меняются лица и положения: красные преследуют отступающих белогвардейцев, на них, в свою очередь, налетает белая конница...

Чарнота в живописных выражениях рисует ситуацию: «...Сели в Курчулане в карты играть с Крапчиковым... Слышу пулеметы. Буденный свалился с небес! Весь штаб перебили...» (Булгаков почти текстуально воспроизводил слова Слащова). Маскарад в монастыре и неожиданное спасение оказываются временной передышкой: «Корпус идет за мной по пятам... Ловит!.. Буденный нас к морю придушит!» Лихорадочные поиски выхода дают шанс на спасение: «Щель нашел!» Разрозненные остатки белых частей через Чонгар и Арабатский перешеек просачиваются в Крым, под спасительный заслон батарей Турецкого вала и сиванских болот.

Знакомство с военными материалами показывает, насколько исторически точна подошлека этой фаггазмагорической ситуации «первого сна». В начале октября, воспользовавшись нападением поляков, Врангель перешел на правый берег Днепра. Фрунзе вынужден бросить на заслон значительные силы. После заключения мира с Польшей сюда же перебрасывается Первая конная армия Буденного. Перед ней поставлена задача стремительным маршем выйти на Асканию-Нова и отрезать белых от крымских перешейков. Таким образом планировалось окружить и уничтожить в Северной Таврии основные силы Врангеля. К концу октября задача была выполнена: белые попали в мешок. Вот тут и сложилась ситуация, образно изображенная Булгаковым: у Буденного не хватало сил, чтобы плотно закупорить горловину крымской «бутылки», и фронт превратился в сплошной

пирог, где красные и белые поочередно играли роль кошек и мышек. 4-я буденновская дивизия глубокой ночью захватила в Ново-Михайловке весь состав запасного марковского полка с офицерами и батареей. В Ново-Алексеевке буденновцы едва не шленили генерала Кутепова — он успел унести ноги, американская же миссия Красного Креста во главе с генералом Моррелем попала в плен. Отчаяние придало белогвардейцам силы, и буквально на следующий день уже белые, прорываясь к Крыму, навалились на Первую конную. В селе Отрада под их удар попал полевой штаб Буденного: выскочив из хаты, Буденный и Ворошилов оказались в водовороте сражения. Белогвардеец с пикой налетел на Ворошилова — его спасли складки тяжелой бурки, а затем пуля маузера вышибла нападавшего из седла. В конечном итоге, пишет Н. Датюк в книге «Штурм Перекопа», Кутепову удалось прорвать кольцо окружения и вывести остатки своих войск в Крым, оставив победителям пленных, свыше 100 орудий, до 100 паровозов и тысячи вагонов... Фрунзе, оценивая события тех дней, писал: «Поражаюсь величайшей энергии сопротивления, оказываемой противником. Он дрался так яростно и так упорно, как... не могла бы драться никакая другая армия».

Несомненно, Булгаков пользовался специальной литературой: изучал статьи М. Фрунзе, «Белые мемуары» И. Василевского (Не-Буквы), книгу А. Ветлугина «Герои и воображаемые портреты» и особенно воспоминания генерала Я. Слащова «Крым в 1920 году». Свидетельства решающей битвы за Крым со стороны и защитников, и нападающих помогли Булгакову избежать обычной для литературы того времени восторженной революционности и добиться стереоскопичности изображения. Во втором сне центральной фигурой действия закономерно становится генерал Хлудов, командующий оборонной белой. Мы застаем его на крупной станции.

Уже проиграны сражения на Литовском полуострове, на Чонгарском перешейке. Уже взяты в лоб укрепления неприступного Перекопа, идет битва на Юшуньском рубеже. Хлудов уже не падает ни на бога, ни на боевой дух армии: террором он пытается удержать воинство от панического бегства, и на фонарях перрона качаются трупы повешенных рабочих.

Цепь событий, повлекших за собой падение Крыма, началась с внезапного захвата красными частями Литовского полуострова. В пьесе этот момент отмечен ремаркой автора о необычных холодах («Случился зверский, непонятный в начале ноября месяца в Крыму мороз. Сковал Сиваши, Чонгар, Перекоп и эту станцию») и репликой генерала Хлудова о том, что бог отступился от белого воинства: «Сиваши, Сиваши заморозил господь

бог... Георгий-то Победоносец смеется!» По свидетельству участника боев со стороны красных Н. Датиюка, погода осенью 1920 года действительно была необычной. Стояла сушь, на полях Любимовки и Каховки земля покрылась трещинами. По утрам степь одевалась инеем. Ветер поднимал снопы брошенной соломы и уносил на восток. В плавнях Днепра вода у берегов взлялась коркой льда. Холод усиливался, температура упала до 10—12 градусов ниже нуля.

Не сумев с ходу овладеть Турецким валом, красные нащупывали пути проникнуть на полуостров. 31 октября группа командиров 51-й дивизии пошла искать брод через Сиваш. «Перед их глазами расстилалась необыкновенно величественная картина. Словно грандиозная серая скатерть, раскинулось дно сивашского Гнилого моря, уходя в необъятную даль Крымского полуострова. Стоило солнцу выглянуть из-за туч и слабыми лучами коснуться вод Сиваша, как море сразу меняло свои краски, отливая... блестящей сталью. Утопая в грязи, командиры прошли по Сивашу больше километра.. То там, то здесь разведчики натыкались на большие „окна“, ямы, наполненные густым соленым раствором, рапой».

Судя по воспоминаниям генерала Слашова, он предвидел возможность перехода красных по дну Сиваша и, пробуя крепость ледяного покрова, велел ежедневно перевозить по мерзлому дну тяжело нагруженные телеги — их вес соответствовал весу орудия. Однако недоброжелатели подняли его на смех. Укрепления Литовского полуострова, сильно выдававшегося в Сиваш, оставались недостроенными, их прикрывала кубанская бригада генерала Фостикова. В ночь с 7 на 8 ноября красные войска вступили на дно Сиваша. До Литовского полуострова 10 километров. Впереди колонны шел местный проводник Иван Оленчук. Дно Гнилого моря покрылось блестящей коркой. Она ломалась под ногами, бойцы увязали в ледяной грязи. Туман не давал возможности обнаружить наступающих до самого последнего момента. Утро застало красноармейцев на крымском берегу. Командование белых, осознав возможность удара с тыла, бросает на Литовский полуостров резервы — дроздовцев, потом конный корпус генерала Барбовича. Тяжелая артиллерия Юшуньских укреплений поворачивается в сторону Сиваша. Но изменить ситуацию белой армии уже не удалось.

9 ноября пал Перекоп. Трудно, по оценке военных историков, найти в мире лучшую естественную крепость. На севере Перекопского перешейка в незапамятные времена было воздвигнуто гигантское сооружение — Перекопский, или Турецкий, вал. Словно горный кряж, замыкал он узкий проход в Крым. Турецкий вал имел двенадцатиметровую высоту, сорокаметровую

ширину и пятнадцатиметровую глубину рва. Спуск и подъем на вал были почти отвесными, местами облицованными гладкими каменными стенами.

Перед валом находилось 24 ряда проволочных заграждений, в бетонных бойницах — сотни пулеметов, бомбометов, минометов, и еще — десятки орудий, из которых стень простреливалась на пять и более километров. Врангель, лично инспектировавший Перекоп, был уверен в неприступности вала. 30 октября он писал: «Многое сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым и ныне уже для врага неприступен». Он был настолько самоуверен, что отвел в глубокий тыл части 3-го корпуса.

После падения Перекопа красные командиры были склонны к естественному преувеличению трудностей штурма. Белые мемуаристы, напротив, делали упор не на военное мастерство противника, а на недостатки обороны. По воспоминаниям Слацова, позиция у Перекопа на самом деле не была подготовлена к бою: она «оказалась без землянок, без ходов сообщения; позиционная артиллерия не пристреляна, и места для полевой артиллерии не выбраны». И. М. Василевский (Не-Буква) в «Белых мемуарах» утверждал даже, что когда представители союзных армий приехали осмотреть оборонительные сооружения Перекопа, «знатных иностранцев вместо Перекопа повезли в Таганаш».

В пьесе Булгакова события предстают в оценке обороняющихся, но жестко и нелюбезно. Вестовой Крапичин обличает Хлудова: «За что ты, мировой зверь, порезал солдат на Перекопе?» Сам Хлудов в ответ на пиньльки главнокомандующего («вы явно нездоровы») восклицает: «А у кого бы, ваше высокопревосходительство, босые солдаты на Перекопе без блиндажей, без бетону, без козырьков вал удерживали?.. Кто бы вешал, вешал бы кто, ваше высокопревосходительство?»

Действительно, неприступность Перекопа в какой-то мере преувеличена, военно-инженерные сооружения на нем были плохи. Но в редакции пьесы 1937 года Булгаков снял эти слова Хлудова, чтобы не преуменьшить значения победы Красной армии, безусловно уступавшей врангелевцам в обеспечении всем необходимым для боевых действий. В этой же редакции опущен важнейший для понимания пьесы монолог начальника хлудовской контрразведки Тихого об интеллигенции, обращенный к Голубкову: «Эх, русские интеллигенты! Если бы вы пожелали осмыслить все, что происходит, мы бы, вероятно, не сидели с вами в этих гнусных стенах в Севастополе. Очень возможно, что мы были бы с вами в Петербурге, вспоминали бы наш университет! Ведь я сам в нем учился.

(Меняет тон внезапно...) Мерзавец, перед кем сидишь? С папироской?.. Встать, руки по швам!»

Эти слова созвучны со статьей Булгакова «Грядущие перспективы» (1919), где он говорит об интеллигенции как представителях неудачливого поколения, которому придется, возможно, умереть в чине жалких банкротов... Намеки такого рода, пусть в устах полицейского провокатора Тихого, в тридцать седьмом были недопустимы.

...Но вернемся снова к местам сражений.

Вслед за Перекопом пал Чонгар. По Чонгарскому полуострову в Крым была проложена железнодорожная линия, стратегическое значение Чонгарских укреплений огромно. последний бронепоезд белогвардейцев переполз в Крым 2 ноября — тотчас прогремели взрывы, и фермы Сивашского железнодорожного моста упали в воду. На глазах красных бойцов сгорел деревянный Чонгарский мост. За Чонгарским проливом к югу шла узкая полоска земли между Сивашом и Азовским морем — ширина ее составляла местами полтора — два километра. На военном языке это называлось «дефиле». На Чонгарском, или иначе Тюп-Джанкойском, дефиле белые возвели укрепления — пять линий окопов с колючей проволокой между ними. По берегу и в воде шли проволочные заграждения в 3—4 кола. В глубине обороны стояли дальнобойные 10-дюймовые морские орудия — на крымском берегу Чонгарского пролива, возле маленькой станции Таганаш. На картах этого времени возле названия станции нанесены четыре вертикальных черточки: это означает, что в поселке чуть более 100 дворов. Здесь поперек железной дороги три линии обороны. От Таганаша дорога вела на Джанкой — крупную станцию, где находился штаб обороны Крыма, а дальше открывалась дорога на Севастополь, на Керчь... Падение Чонгара — страшная беда для командования белых. Пять суток саперы и пехотинцы красных возводили мосты, и после ожесточенного ночного штурма 11 ноября двумя потоками — через пролив и по железнодорожной насыпи — красноармейцы хлынули в Крым.

«— Чонгар... Чонгар...» — как во сне повторяет Хлудов. Оборону не спасли ни укрепления, ни личное мужество офицеров, которые под музыку ходили в атаку на Чонгарскую гать. Прибытие генерала Чарноты в штаб ставило окончательную точку: «С Чонгарской дефиле, ваше превосходительство... сводная дивизия подошла». В порыве ярости Хлудов отдает приказ бронепоезду «Офицер» (такой бронепоезд существовал): «...пройти как можно дальше по линии на север... и огонь.. Чужих, чужих, своих и посторонних пусть в землю втопчет на прощанье! Пусть рвет пути, уходит в Севастополь». Далее

авторская ремарка: «раздастся... залп с бронепоезда. Он настолько тяжел... что звука не слышно, но электричество мгновенно гаснет в зале станции и обледеневшие окна обрушиваются...»

«Шумно пойдешь, с песнями, а на Алманайке еще больше зашумишь из пулеметов! И сейчас же вернешься на Бабий Гай и переправишься хоть по глотку» — в этом приказе Чарноты де Бризару он (генерал-майор, запорожен по происхождению и киевлянин по прежнему месту жительства) предстает как опытный военачальник. Белые дивизии вообще держались стойко, бои были жесточайшими. Булгаковский рассказ о происходящем целиком объективен, и знаменательно, что он перекликается с описанием боев за Перекоп, принадлежащим перу Романа Гуля — автора написанных в эмиграции «Ледяного похода», повести «Белые по Черному» и широко известного исследования «Красные маршалы». В очерке «Блюхер» Роман Гуть, не склонный к поэтизации красных, пишет: «В августе 1920 года в степях Таврии завязались бои за захват Каховского плацдарма. Во главе 51-й дивизии Блюхер пошел в атаку у Чаплинки и Каховки. Широким фронтом, во весь рост, без перебежек, одетые в красные рубахи, шли блюхеровцы, с налету овладели высотой у хутора Куликовского. Ошеломленные такой атакой белые сдали высоту, но, оправившись, бросились в контратаку. Это был страшный бой. И красный Блюхер и белый Кутепов в полной мере оценили друг друга — ночью оба отошли на исходные позиции.

...Теперь белые оказывали последнее сопротивление на узком Перекопском перешейке. Темной полосой из темных вод выдавался Литовский полуостров. Угрюм, крут Турецкий вал, поднявшийся над плоскостью моря, как стена, загораживающая вход в Крым. После овладения подступами красные бросились в лобовой штурм Турецкого вала... Белые стягивали все, что могли, в бой пошел даже личный конвой главнокомандующего. Этой ночью Блюхер двинулся с тремя дивизионами, пулеметами, артиллерией по дну Сиваша — во фланг и тыл врагу.

На морозе дрожали красноармейцы в одних гимнастерках; огня не приказано разводить, и войска в полной темноте шли на эту, похожую на безумие, операцию.

В семиверстном пространстве ни складки, ничего, чтоб позволило скрыться или встать артиллерии на закрытую позицию. На мокром дне не вырыть и окопов. Но Блюхера волновал не только рассвет.

Сиваш высушило, обдуло ветрами. Ни вчера, ни позавчера не было воды. Но не только Блюхер, все торопящиеся красноармейцы, когда уже были на полпути, заметили, что ветер

переменился, подул с востока... Вода прибывала. Стихия была против красных.

Блюхер торопил части. Вода уже наполняла колеи до колес орудий, колеса увязали до осей. А когда последняя пехота, вступив на полуостров, бросилась на штурм, сзади красных стояло море.

Впереди огненными взрывами забушевал огонь белых. Это был самый яростный бой за всю гражданскую войну... В атаках, одна за другой, падали линии белых. Крым открывался. Белые начали поспешное отступление» (31а, с. 186—188).

Главнокомандующий в «Беге» еще предупреждает, что иной земли, кроме Крыма, у белых нет. Но это уже просто пустые фразы...

Еще одна попытка устоять. Вырвавшись из жестоких боев на Чонгаре, Чарнота получает приказ двигаться на Карпову балку. С названием Карпова балка связан последний акт перекопской драмы белых. Взяв Турецкий вал, красные части устремились на юг, не остановившись для передышки. Предстояло одолеть главное укрепление — Юшуньские позиции. Для создания сильной обороны здесь не надо было копать рвы или возводить вал. Между Каркинитским заливом Черного моря и Сивашом суша изрезана глубокими солеными озерами — Старым, Красным, Круглым, Безымянным. Их разделяли узкие полоски суши — плоские, лишённые растительности ленточки-дефиле. Стоит поставить на берегу пулеметы, как цепь озер становилась непреодолимой. Белогвардейцы перерезали все дефиле четырьмя линиями укреплений с бетонными блиндажами. На левом фланге, ближе к Сивашу, в районе Карповой балки стояли отборные части генерала Барбовича — в основном казацкая конница. Именно сюда командование белых выдвинуло Донской корпус, имевший 3,5 тысячи сабель и 1,5 тысячи штыков. Вымышленный генерал Чарнота, командир отчаянных донцов, судя по всему, отождествляется с дивизионным начальником Донского корпуса. По оценкам специалистов, плотность войск и вооружения на километр фронта достигла у белых беспрецедентных размеров: до 40—45 орудий, более 100 пулеметов, около 2000 штыков и сабель.

Битва разгорелась на рассвете 10 ноября. Белых поддерживала артиллерия с морских судов и тяжелые орудия из-под Юшуни. Тем не менее на правом фланге наступление развивалось успешно. На левом же, у Карповой балки, Барбович перешел в контратаку и потеснил красных. В ночь на 11 ноября фронт стал закручиваться, как пропеллер: создалась взаимная угроза тылам. Пока в центре фронта три белогвардейские дивизии сошлись врукопашную с тремя бригадами 51-й дивизии красных, весь корпус Барбовича углублялся на север, прижимая

противника к Сивашу. Успех развить не удалось, и Врангель дал указание Барбовичу и Калинину (Донской корпус) ударить с двух сторон по Юшуну, уже взятой большевиками. Трудно пересказать все перипетии ожесточенных схваток, но ценой сверхчеловеческого напряжения красные войска вырвали победу. 11 ноября в 12 часов радио оповестило: «Срочно всем, всем. Доблестные части 51-й Московской дивизии в 9 часов прорвали последние Юшунские позиции белых и твердой ногой вступили на чистое поле Крыма. Противник в панике бежит...»

Этот момент отражен в пьесе. С Кермана-Кемельчи прибывает поезд главнокомандующего, Хлудов конфиденциально докладывает: «Противник взял Юшунь. Большевики в Крыму!..

Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й . К о н е ц ?

Х л у д о в . К о н е ц » .

Так начинается неостановимый бег... Пролетел далекий вой бронепоезда. Итак, Севастополь. Булгаков подчеркивает диспозицию третьего сна: «Контрразведка и дворец». Часы исхода разворачиваются в Севастополе, совпадая с реальными событиями поспешного бегства белых, штурма кораблей толпой и войсками у морских причалов.

«Грустное освещение. Вроде сумерек в начале ноября. Возникает кабинет контрразведки в Севастополе. Одно окно на улицу, уютный письменный стол, шелковый диван... Тихий сидит за письменным столом в штатском платье». Дверь открывается...

Здесь, в потасной камере, терроризируя Голубкова возможной нестерпимой болью, светящейся раскаленной иглой, контрразведчик Тихий заставляет Голубкова написать под диктовку следующее: «Я, нижеподписавшийся, Сергей Павлович Голубков, на допросе в контрразведывательном отделении ставки комфронтом 31 октября 1920 года старого стиля показал... Серафима Владимировна Корзухина, жена товарища министра Корзухина Парамона Ильича... состоящая в Коммунистической партии, прибыла из Петербурга в район вооруженных сил Юга России... для коммунистической пропаганды и установления связи с подпольем в городе Севастополе... Все изложенное показал, руководствуясь единственным желанием помочь контрразведывательному отделению в его борьбе с большевиками... Подпись полностью...»

Бегут, бегут минуты. За окнами — стрекот копыт, это конница Чарноты идет на пристань. Заплечных дел мастера Гаджубасев, Тихий и Скусский, надеясь заработать на шантаже Корзухина, допрашивают Серафиму, предъявляя ей показания Голубкова. Типичный ход карательных органов...

«Серафима (щурится)... Петербург, лампа... он заболел, что ли?.. (Берет документ, комкает, сжимает в кулак, прислушивается, подбегает к окну, выбивает стекло, кричит глухо). Помогите, помогите!..

Гаджубаев вбежал... бросается на Серафиму, дверь открывается, и в ней появляется Чарнота, в бурке и папахе, за ним тревожно показываются другие бурки. Гаджубаев выпускает Серафиму».

В книге В. В. Шульгина «1920 год» есть эпизод, характеризующий атмосферу всеобщей подозрительности, шпиономании в белом Крыму. Оказавшись на корабле возле Тендры, В. В. Шульгин наблюдал арест молодой, привлекательной женщины, из семьи киевского генерала, которого он знал лично и потому засвидетельствовал личность арестованной, однако из севастопольской контрразведки пришел ответ, подтверждающий «подлинность» разведчицы. Книга была известна М. А. Булгакову и, возможно, этот эпизод отразился в злоключениях Серафимы Корзухиной.

И вот дворец в Севастополе. Где-то в боковых его апартаментах или совсем поблизости тихо делают свое дело Тихие, а здесь, в разоренном огромном кабинете, у горящего камина, лихорадочно сворачивает дела фронта главнокомандующий, в образе которого угадывается Врангель (кстати, на подлинном снимке он в папахе и картинной бекеше — по контрасту с солдатской шинелью Хлудова).

«Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й . Оставшихся посетителей впускать ко мне автоматически. Через три минуты, один после другого! Приму, сколько успею. Пошлите казака отконвоировать полковника Бризара ко мне на корабль!»

Лица, лица бегущих... Через кабинет проходит Корзухин, вскоре незаметно ускользящий, затем преосвященный Африкан. Входит Хлудов...

Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й . А, слава богу... Ушли все?..

Х л у д о в . Конницу Барбовича зеленые начали трепать под Карасу-Базаром... Но в общем ушли. Все в портах...

Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й . Благодарю вас, генерал, за все, что вы с вашим громадным стратегическим талантом сделали для обороны Крыма. Благодарю и не задерживаю! Сейчас я переезжаю в гостиницу «Кист», а оттуда на корабль.

Х л у д о в . В «Кист»? К воде поближе?

Г л а в н о к о м а н д у ю щ и й . Если вы не перестанете забываться, я вас арестую!

Х л у д о в . Предвидел... в вестибюле мой конвой...»

Но уже не до арестов... Бежать... бежать...

«К о н в о й н ы й . Ваше высокопревосходительство, кавалерийская школа из Симферополя подошла. Все готово.

Главного командующий. Да? Хорошо, сейчас!»

В опустевшем дворе остаются Хлудов и Голубков. Голубков в пальто, без шапки... Он пришел жаловаться на Хлудова и сталкивается именно с ним... Главного командующий уже на корабле... Происходит острейший разговор между ними.

«Голубков. ...Ты — сумасшедший! Теперь все понимаю. Лед на Чонгаре, черные мешки, мороз! Судьба! За что ты гнешь меня? Как же я не сберег мою Серафиму? Вот он, вот он, ее слепой убийца. А что с него взять, если разум его помутился?»

Хлудов. Рыцарь! Чудак! (Бросает ему револьвер)...

Голубков. Нет, не могу уже стрелять в тебя. Ты мне жалок, и страшен, и омерзителен!..»

Между тем пароход «Витязь», на котором находится отбитая Чарнотой Серафима, уже на рейде. Вскоре на «Святитель» погрузится и Хлудов — с конвоем и знаменем. В Константинополь отплывает и Голубков.

В эти же дни толпы людей отплывали и из Ялты. Вот свидетельство очевидца: «С 12 ноября началась погрузка на суда конного корпуса генерала Барбовича. У трапа шла битва. Одни сбрасывали в море других, узлы, чемоданы. В Севастополе грузились Врангель, его штаб, французская миссия».

Но что происходило в Севастополе? С этим городом у Булгакова связаны и личные переживания. Отсюда после ранения на корабле «Риони» отплыл на чужбину его младший брат Николай. Наверное, не раз он возвращался к мысли: «И я мог бы...» До неожиданного краха (а Врангель был уверен в неприступности Севастополя) город жил шумно, нарядно, почти весело. Это запечатлено в уже упоминавшейся книге В. В. Шульгина. Очевидно, ее содержание писателю могла пересказать Л. Е. Белозерская, проведшая годы эмиграции вместе с И. М. Василевским (Не-Буквой).

Эти имена имеют к биографии Булгакова непосредственное отношение. В. В. Шульга — издатель газеты «Киевлянин», которая выходила в период пребывания Булгакова в Киеве. По мнению М. О. Чудаковой, Шульгин — идеолог белого движения — повлиял на выбор названия романа «Белая гвардия». И. М. Василевский (Не-Буква) издавал в Киеве сатирическую газету «Чертова перечница», в которой сотрудничали А. Т. Аверченко, А. С. Грин, А. И. Куприн. В «Днях Турбинных» она названа «Чертовой куклой». У Аверченко Булгаков заимствовал тему «тараканьих бегов».

Улицы, по свидетельству В. В. Шульгина, прибывшего в Севастополь в июле 1920 года, были заполнены народом. Масса офицеров и шикарных дам, извозчики, автомобили,

объявления концертов, лекций, собраний, меняльные лавки на каждом углу.

Квартир нет. Приезжающие поселяются на кораблях. На мелкие расходы нужно сто тысяч. Тем не менее грабителей нет. «Теперь с мужиком цацкаются». «Здесь верхам хуже, а низам лучше». Гражданскими делами в Крыму заправляет А. Кривошеин, в прошлом — правая рука П. Столыпина...

В Севастополе Шульгин наблюдал появление советского гидроплана, прилетевшего для разведки. Его обстреливали с маяка...

К свидетельствам и размышлениям Шульгина писатель должен был отнестись с большим вниманием. Для Шульгина символами белой идеи была честность до донкихотства. Грабеж он считал несмысленным позором, убийство признавал только в бою. Вместе с тем Шульгин делил войнство на «белоснежно белых», «серых» и «грязных». Белая идея, и об этом Шульгин также откровенно писал, деградировала. Дело, начатое «почти святыми», пошло в руки «почти баццигтов», которые стали убийцами «белой мечты». «В одной хате за руки подвесили комиссара... Под ним разожгли костер. И медленно жарили человека».

Но эти вероятные и гипотетические источники, а их число можно уточнить, скорее комментарий к булгаковским снам, а не наоборот! Конечно, писатель не мог сказать в «Беге» всего, что думал. В ряде мест Михаил Афанасьевич был вынужден ограничиться намеками. И все же в редакции пьесы 1926—1928 годов он сказал максимум правды о красных и белых. Чего стоит фраза буденновца Баява в монастыре, обращенная к невинным людям: «Ну, будет сейчас у вас расстрел!» Не менее опасен Тихий. От его угроз Голубкову: «Тебе еще никогда не делали маникюра в контрразведке? Нет? Ну, я тебе сделаю... При первой же лжи я буду тебя пытать» — становится жутко. Не очень-то необходимые детали — и в двадцать восьмом, и в тридцать седьмом.

И вместе с тем Хлудов — апокалиптический зверь, страдающий галлюцинациями, объективно приближает конец белогвардейщины. Это инвариант силы, творящий зло, но приближающий благо, одна линия с Воляндом.

Но почему Булгаков называет Хлудова курносым дьяволом? В литературе именно внешнюю примету «курнос, как Павел» соотносят с тем, что Булгаков писал роли под определенных актеров. В частности, Хлудова должен был играть курносый Хмелев. Однако, по мнению М. Петровского — автора книги «Городу и миру» (1990), есть основания связать «курносость» апокалиптического зверя Хлудова с дьяволядой. Булгакову был известен альманах «Земля» (Киев, 1917), где опубликованы две «дьявольские» вещи — рассказ А. Куприна «Каж-

дос желание» и повесть В. Винниченко «Записки курносого Мефистофеля». Имя Винниченко упоминается в булгаковской «Белой гвардии», а дьявольские мотивы использованы в «Мастере и Маргарите».

Едкая ирония заключена, например, в мифологическом маскараде, устроенном вокруг Хлудова. Плакат в штабе на станции изображает Георгия Победоносца — белый юноша на коне поражает дракона. Архиспископ обращается бгю с молитвой к Победоносцу, но Хлудов обрывает его еретически: «...вы напрасно беспокоите господа бога. Он уже явно и давно от нас отступился...»

Здесь чувствуется и скрытый подтекст, вытекающий из сюжета о Георгии Победоносце. Георгий, вооруженный словом божьим и копьём, побеждает змия и спасает невинную девуцу, а с нею и город Лаоисию, жители которого в знак признательности принимают христианскую веру. Белый же рыцарь Хлудов, не задумываясь, отдаёт в пасть контрразведки невинную Серафиму Корзухину...

Еще один — новозаветный — сюжет пародируется во втором сне. Корзухин отрекается от жены: «Эту женщину вижу впервые в жизни». Отрекается подобно будущему апостолу Петру, отказавшемуся от Иисуса во дворе дома первосвященника. Собственно, в пьесе проходит цепь отречений: Африкан отрекается от паствы и бежит, Корзухин предаёт Серафиму. Голубков в контрразведке, поверженный в ужас сиянием раскалённой иглы, тоже подписывает ложный навет на Серафиму...

Говоря об истоках столь смелого и глубокого использования библейских сюжетов, вспомним прежде всего имена Н. С. Лескова и А. П. Чехова. Лесков много писал о церковном быте, часто с иронией включал реминисценции из Священного писания, житийной литературы и апокрифов. Чехов — писатель трезвый и аналитический — широко вводил в свои произведения библейские образы вне их мистического содержания. Но они жили и творили в иные времена. Булгаков с поразительной силой сделал это в 20-е годы, доказывая, что вечное может быть и самым гучим. Только истинный талант может выгкать такую ткань — вопреки множеству драмделов вокруг, и тайна сия велика есть... Вспоминается малоизвестное высказывание почтателя булгаковского творчества Владимира Ивановича Немировича-Данченко, позволяющее заглянуть в такой колодец.

В 1943 году в одном из последних писем, в строках, адресованных Б. Л. Пастернаку, великий режиссер подчеркивает: «На сцене нет ничего „чересчур“, если это верно, если это оправдывает все, не только психологические, но и психофизические проявления характера, страсти, доведенной до предела». «Бег», особенно в первоначальном его варианте, был

именно таким гармоничным произведением — от пролога до слов Серафимы в эпилоге, где она хочет вместе с казаками вернуться домой, и контрдоводов Чарноты: «Я давно, брат, тоскую! Мучает меня Черторой, помню я Лавру! (Киевские места. — *Авт.*). Помню бои! От смерти я не бегал, но за смертью специально к большевикам тоже не поеду!» Все в этом глубоко человеческом, лиричном эпосе, созданном рукою Мастера, говорит о высшем даре Булгакова, о непостижимых загадках творца. Другие, ради успеха и славы, могли «наступить на горло собственной песне», но не он.

А эти сны, наверное, все снились и снились ему, человеку театра...

«Перекопский патерик» — так назвала эпопею исхода из Крыма Марина Цветаева.

Тем Турция — серп, тем
Сербия — крест:

Погоет найди, где русского нет!

Это строки из поэмы «Перекоп», написанной в эмиграции в 1928—1929 годах. Как переключается она с «Бегом», созданным в то же время по эту сторону...

Можно провести параллели и с другим большим поэтом времени — Владимиром Маяковским. В знаменитой поэме «Хорошо!», приуроченной к 10-й годовщине революции, целая глава посвящена исходу белогвардейцев из Крыма. Очевидец событий «Павел Ильич Лавут» живописует бегство белых из Севастополя: драки за место на пароходах («бьет мужчина даму в морду», «солдат полковника сбивает с мостков»). Есть тут и картинный «Главнокомандующий», трижды целующий русскую землю перед бегством, и «наши», с песнями спускающиеся с гор.

Маяковский много раз бывал в Крыму, отдыхал там почти в то же время и почти там же, что и Булгаков. Две последние главы были написаны на Южном берегу, здесь же родилось и название поэмы. Однако, в отличие от Булгакова, крымская драма осмыслена им как эпизод в победном шествии Октября. За скобками оказалась судьба десятков тысяч оставшихся в Крыму на милость победителей: показано только, как полуграмотный начштаба выводит корявой рукой донесение: «Пленных нет...» Исход белых из Крыма ассоциируется у поэта с предсказанием — «мереть по ямам африканским».

Конечно, эти «вчерашние русские» подметали мостовые в Париже, наяривали на балалайках в дешевых ресторанах, доили коров в Аргентине... Но они же создали и мощный пласт зарубежной отечественной культуры, породили плеяду талантливых писателей, ученых, музыкантов, политиков... Сейчас ясно, что русское зарубежье во многом обогатило духовный фонд нации.

«Недописанный лист» — вот, собственно, судьба Булгакова. В 1970 году, спустя тридцать лет после его смерти, providение дало Елене Сергеевне Булгаковой возможность увидеть версию «Бега», которая, думается, понравилась бы в целом и Михаилу Афанасьевичу. Елена Сергеевна была литературным консультантом фильма А. Алова и В. Наумова «Бег» и очень ждала его появления. В летний день, в грозу, она сехала на киностудию посмотреть рабочий материал. «В тот день я видел ее в последний раз, она была взбудоражена, тревожно-весела», — вспоминает В. Лакшин. Картина ее удовлетворила, и она выразила надежду: «Вы увидите, это даст дорогу Булгакову».

Так и случилось: В. Дворжецкий, Е. Евстигнеев, М. Ульянов, А. Баталов — Хлудов, Корзухин, Чарнота, Голубков в фильме — вдруг вынесли мысли и образы Булгакова в мир, к миллионам людей, и «Бег» оказался, пожалуй, самым значительным явлением искусства тех лет. Свет великого таланта засиял, захватывая и поражая.

Но Елена Сергеевна увидела лишь зарю возвращения. Через день после просмотра фильма она умерла — внезапно, словно отлетела. Она похоронена рядом с Михаилом Афанасьевичем...

«Вы, странники терпенья»...

В архиве ялтинского Дома-музея А. П. Чехова сохраняется тетрадь воспоминаний Марии Павловны Чеховой в записи ее племянника Сергея Михайловича. Они продиктованы в 1946—1948 годах и касаются обстановки террора в Крыму после поражения Врангеля. Вот некоторые из ее воспоминаний. В ялтинском порту людям привязывали к ногам груз и сбрасывали в море. Потом с мола было видно, как трупы колыхались в воде. Когда снарядили водолазов, чтобы убрать утопленников, один не выдержал и сошел с ума... Мимо чеховского дома на Аутской улице ежедневно прогоняли под конвоем партии людей на расстрел. В Севастополе осужденных загоняли на саморазгружающиеся баржи и сбрасывали в открытое море...

Все это сравнимо с хлудовскими виселицами на джанкойском перроне. Поистине Серафима Корзухина и приват-доцент Голубков, «выпибленные большевиками», оказались счастливыми.

Знал ли Булгаков правду о крымской зиме 1920—1921 года, о полосе незаконных казней, о вероломном нарушении большевистским правительством обязательств, подписанного М. И. Калинин и В. И. Ульяновым (Лениным): «Честно и добровольно перешедшие на сторону Советской власти не понесут кару. Полную амнистию мы гарантируем всем

переходящим на сторону Советской власти. Офицеры армии Врангеля, рабоче-крестьянская власть последний раз протягивает вам руку примирения»? Несомненно, знал, и, думается, кое-что ему могла рассказать Мария Павловна Чехова, хотя бы в связи с тем, что он задумал пьесу о Переконце... Ведь и в 1948-м, открывая истину, о которой почти никогда и ничего не говорилось официально, она, даже будучи сестрой Чехова, в достаточной степени рисковала. Мы уже подчеркивали, что в «Беге» есть прямые намеки на «красный террор». Писатель апеллирует к тому, что входило в общественный психологический портрет, о чем знали, но молчали. Например, в проскрипционном списке, опубликованном «Известиями временного Севастопольского ревкома» 28 ноября 1920 года, значилось 278 женщин, а через два дня среди 1202 расстрелянных оказалось еще 88 женщин. Газета открыто вывешивалась на улицах, казни не представляли собой тайну. И в слове Чарноты «мгновенно» отражено то, что происходило на самом деле. В свете этих фактов возвращение Серафимы и Голубкова на родину — не спасение... Но они и не жаждали спасения. И пьеса о том, что человек сам отвечает за свои поступки и что кровь не смывается никогда. Известно, что к 1937 году «Бег» имел два варианта окончания. Причем наиболее настойчиво автор возвращался к финалу с самоубийством Хлудова, отвечающему именно этой заповеди, этой моральной максиме.

«Хлудов: Избавился? Один? И очень хорошо (обрачивается). А? Сейчас, сейчас. Вынимает револьвер и начинает стрелять через окно в вертушку... Слышны яснее крики. Последнюю пулю Хлудов пускает себе в рот и падает ничком...».

Мы уже упоминали, что, работая над «Бегом», Булгаков обращался к изданной в СССР книге Я. А. Слещова «Крым в 1920 г. Отрывки из воспоминаний». Генерала Слещова справедливо считают основным прототипом Хлудова. Впрочем, Слещов был отстранен Врангелем от должности командира 2-го армейского корпуса еще в августе 1920 года, и, следовательно, не мог возглавить оборону Крыма. Тем не менее, и Слещов, и другие генералы, рядом с которыми он сражался, заслуживают отдельных строк в нашем исследовании. В 1990-м, помимо книги «Крым в 1920 году», к читателям впервые пришла опубликованная в 1921-м за рубежом работа Слещова «Требую суда общества и гласности (Оборона и сдача Крыма)». Это исключительно интересные мемуары и документы. Но сперва немного о самом Слещове (в различных источниках его фамилия пишется по-разному: через «ё» и через «о»). Более привычно и правильно второе).

В дни крымских боёв Якову Александровичу Слещову, в прошлом офицеру Генерального штаба, командиру роты, батальона и полка в период первой мировой войны, было тридцать пять лет. С 1919 года он генерал-майор 3-го армейского корпуса Вооружённых сил Юга России, действующего против Петлюры и Махно. В этом же году Слещов становится во главе обороны Крыма. Характерен его приказ от 31 декабря, приводимый военным историком А. Г. Кавтарадзе: «На фронте льётся кровь борцов за Русь Святую, а в тылу происходит вакханалия. Между тем, забывшие свою честь, видимо, забыли и то, что наступил серьёзный момент и накатился девятый вал. Борьба идет на жизнь и на смерть России.

Согласно приказа, я обязан удержать Крым и для этого облачен соответствующей властью... Я это выполню во что бы то ни стало и не только попрошу, а заставлю всех помочь. Мешающим же этому говорю заранее: бессознательность и преступный эгоизм к добру не приведут. Пока берегитесь, а не послушаетесь — не упрекайте за преждевременную смерть».

Стиль приказа как бы подтверждает, что Хлудов обладает решимостью и твердостью Слещова. Именно Слещов в январе — марте 1920 года сорвал несколько попыток Красной армии прорваться в Крым. Но с П. Н. Врангелем он враждовал, хотя Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России и приказал «дорогому сердцу русских воинов генералу Слещову именоваться впредь Слещов-Крымский». Однако при соблюдении внешних правил приличия Врангель отправил его на покой и свою встречу с отстранённым от должности Слещовым описывал так: «Генерал Слещов из-за склонности к алкоголю и наркотикам стал полностью невменяем и представлял собой ужасное зрелище».

Тем не менее именно Слещов оставил в своих первых мемуарах подробные документальные свидетельства о том, что происходило в ноябре 1920 года на фронте в рядах белых. Надо полагать, что Булгаков не был знаком с этими страницами, поскольку книга «Требую суда...», изданная в Константинополе, вряд ли была ему доступна. Тем поразительнее определенные совпадения между описываемым в пьесе и воспоминаниями Слещова! По указанию Врангеля он 20 октября выезжает на фронт в распоряжение генерала Кутепова.

«Я приехал в Джанкой, куда прибыл утром, — пишет Слещов. — Пессимизм в штабе 1-й армии был страшный — настолько, что я спросил генерала Кутепова: „Верить ли ты сам в то дело, которое делаешь? Если нет, то мы заранее разбиты“. Генерал Кутепов дал уклончивый ответ. Весь день шли разно-

образные назначения меня генералом Кутеповым на разные боевые участки, но все эти назначения сводились к тому, чтобы куда-нибудь послать и дать какое-нибудь дело совершенно лишнему, но назойливому человеку...»

Пока шла эта преступная игра, разыгрываемая на глазах у гибнущей армии, было получено следующее официальное сообщение правительства Юга России:

«Ввиду объявления эвакуации для желающих — офицеров, других служащих и их семей — правительство Юга России считает своим долгом предупредить о тех тяжелых испытаниях, какие ожидают выезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах... Кроме того, совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственной опасности от насилий врага, оставаться в Крыму. Севастополь, 29 ноября (11 ноября) 1920 года».

Как видите, это сообщение можно охарактеризовать только словами: «Спасайся, кто может!» Так оно и было понято в войсках.

«В этот же день ночью я был послан на Юшунь-Симферопольскую дорогу к частям, отходящим из Таврии.

Приехав туда, я застал: 256 штывков, 28 орудий и при них 2 штаба дивизии и 1 штаб корпуса... А части в это время уже шли всером в разные стороны на фронт Керчь — Евпатория. Предыдущие распоряжения и знаменитое официальное сообщение правительства уже погубили армию. Даже приказа было отдать нельзя, потому что все равно его не доставят...

Вскоре Ставка передала Кутепову такое сообщение: „Главкомандующий приказал доложить генералу Кутепову, что в Севастополе в витрине на Нахимовской вывешена телеграмма генерала Слашова примерно следующего содержания: „Красную сволочь разбил, советую тыловой — развязывать манатки. Генерал Крымский“.

Одновременно по телеграфу произошел разговор генерала Врангеля с генералом Кутеповым.

Генерал Кутепов: „Может ли говорить генерал Слашов, который находится сейчас у аппарата?“ Генерал Врангель: „Я очень спешу, и ежели генерал Слашов имеет что-либо передать, то прошу сделать это через тебя. До свидания“. Генерал Кутепов: „...Передаю телеграмму генерала Слашова: „Главкому. Лично видел части на фронте — вывод: полное разложение... Выход следующий: из тех, кто не

желает быть рабом большевиков, и тех, кто не желает бросить свою Родину,— сформировать кадры Русской армии, посадить их на отдельные суда и произвести десант... С полным докладом выезжаю к Вам в поезде юнкеров и прошу по моему приезду немедленно принять меня хотя бы ночью”.

Генерал Врангель: „Генералу Кутепову. Передайте генералу Слащову: желающим продолжать борьбу предоставляю полную свободу... Предлагаю вам задержать генерала Слащова на фронте, где его присутствие несравненно нужнее, нежели здесь...”

Все же ныгаюсь еще раз говорить со Ставкой... Ответа, конечно, не было.

Тогда вместе с генералом Кутеповым я выехал в Севастополь. Там ни о каком сопротивлении не думали. Все думы сводились к тому, как бы уехать».

Отметим, что в диалоге между Хлудовым и Корзухиным на станции в Джанкое совершенно явственно отражен текст телеграммы Слащова с его жесткой, почти нецензурной оценкой белого тыла: «Тыловой сволочи советую развязывать манатки». А в начале пьесы Булгаков использует замечание Слащова в его книге о Крыме в 20-м году, что рокировка хорошо проходит только в шахматах, но не на фронте. М. В. Фрунзе блестяще использовал ошибки Врангеля при обороне переконских перешейков...

Следует коротко сказать о некоторых подлинных участниках противоборства на Перекопе с белой стороны. Например, генерал-лейтенант Иван Гаврилович Барбович действительно был командиром конного корпуса в русской армии. Слащов пишет о нем: «Лично храбрый и хорошо бы командовал эскадрой и даже полком, но дальше никуда не годился». Генерал-майор Николай Александрович Калинин служил в Крымском корпусе Слащова. Генерал-лейтенант Александр Павлович Кутепов с августа 1920 года, после смещения с должности Слащова, командовал 1-й армией, с которой эвакуировался в Галлиполи. Имя генерал-майора Михаила Гордесевича Дроздовского, проработавшего с небольшой группой труднейший поход для соединения с русской армией, носил 2-й офицерский стрелковый полк.

А кто явился прототипом высокопреосвященного Африкана, архиепископа Симферопольского и Карасу-Базарского? Очевидно, это Вениамин, бывший епископом в Крыму в 1920-м, сторонник П. Н. Врангеля. Булгаков, блестяще владея религиозной терминологией, показывает Африкана как фарисея, лицо малодуховное и ничтожное.

Представителем штаба главнокомандующего в русской армии был генерал-майор Петр Семенович Махров. Его фамилия, возможно, использована в «Беге», под нею скрывается

Африкан. Слащов пишет о Махрове как о человеке невероятной, даже преступной болтливости. Впрочем, не все слащовские характеристики можно считать целиком объективными...

Пишет Слащов и о зеленых, среди которых было много дезертиров из войск Врангеля. Успеху партизан способствовало недовольство населения поборами и террором со стороны белых.

В отрывках из воспоминаний Слащова есть глава о крымской контрразведке в период умирания белой армии. В качестве контрразведчика при его корпусе находился чиновник Шаров с целым штатом служащих. Его, а также других деятелей этой службы Слащов называет «темными личностями». «Умиравший строй всегда пользуется такими гадинами», — пишет он. Шаров занимался шантажом, вымогательством, а в образе Тихого проступают его ужасающие черты.

Истины ради следует отметить, что Слащов широко использовал штат Шарова. По его словам, ему нужно было расчистить тыл от банд и раздавить в зародыше выступления оппозиции. И тут уж по его приказу вешали и расстреливали и правого и виноватого. Вот одна из его телеграмм: «Чаплинку взял, кого нужно расстрелял тчк Слащов». Среди его жертв, конечно, были и рабочие. Эпизод о пяти симферопольских рабочих, казненных Хлудовым, имел реальную основу. Подтверждение находим в книге Я. Слащова «Крым в 1920 году», где об этом говорится и в предисловии Д. Фурманова, и в тексте. Правда, речь идет не о Симферополе, а о Севастополе, где по докладу начконтрразведки должно было состояться выступление сочувствовавших красным. Арестовано было 14 «главарей», которым предъявлено обвинение в заговоре против «государственной» власти, улики все были налицо... «Я приказал погрузить обвиняемых в транспорт, чтобы судить на фронте. Контрразведка советовала мне сделать это тайно, но я ответил, что мое правило: сведения о смертных приговорах, утвержденных мною, распространять для общего сведения... Ни одного тайного приговора к смертной казни я своей подписью не утвердил. Так было сделано и в данном случае. Следует отметить, что ни одна рабочая организация, как это делалось раньше, не обратилась с заступничеством за приговоренных». Сделал это лишь Мельников, «премьер-министр» Деникина, и то после казни. Отвечая ему, Слащов писал: «Десять прохвостов расстреляны по приговору военно-полевого суда. Я только что вернулся с фронта и считаю, что только потому в России у нас остался один Крым, что я мало расстреливаю подлицов, о которых идет речь». Эти же факты изложены и в сборнике «Революция в Крыму» (Симферополь, 1924, № 2), ссылки на который использовал М. Булгаков при работе над крымской темой.

Хотя Слещов пишет, что заботился об удовлетворении «насущных нужд рабочих и крестьян», очевидно, тут у него были определенные расхождения с возглавлявшим правительство Юга России Александром Васильевичем Кривошеиным, который, учтя ошибки правительств при Деникине и Колчаке, пытался проводить достаточно либеральную политику по отношению к трудящимся. Пожалуй, в Корзухине, присаживающем к Хлудову для выяснения судьбы пяти симферопольских рабочих, есть что-то от А. В. Кривошеина, одного из немногих штатских лиц врангелевской верхушки. «Представьте себе, что в этом «белогвардейском Крыму» рабочие живут лучше, чем в «рабоче-крестьянской республике». Правительство Врангеля постоянно выбрасывало на рынок большие партии хлеба. Свободная торговля регулировалась А. В. Кривошеиным, гражданским правителем Врангеля». Кривошеин в разговоре с Шульгиным обозначил свою политику так: «Мы опытное поле, показательная станция. Надо, чтобы слава шла в остальные губернии, что вот там, в Крыму, у генерала Врангеля, людям живется хорошо. С этой точки зрения важны и земельная реформа, и волостное земство, и приличный административный аппарат...» Но сам же Кривошеин подтверждал, что это удастся «весьма относительно... Ничего нет»...

В связи с этой политикой Врангеля методы устрашения, применяемые Слещовым, были вредны для белого движения: он разрушал ореол белой идеи, в чем по переезде в Константинополь и был обвинен. Врангелевцы устроили над Слещовым «суд чести», обвинив его в «пособничестве большевикам». Его зверства в захваченных районах восстанавливали местное население против белых и способствовали возникновению красных и зеленых партизанских отрядов в Крыму. Судили также за то, что Слещов расстрелял любимца Врангеля — полковника Протопопова. Суд постановил, что Слещова нельзя более терпеть в русской армии. Его разжаловали в рядовые. Врангель тут же утвердил приговор. Так что «солдатская шинель Хлудова — как бы проекция будущей судьбы и знак расплаты...

Соперничество с главнокомандующим Врангелем имело давние корни... Оказавшись в августе 1920 года не у дел, Слещов переехал в Ялту и жил в Ливадии на даче бывшего министра двора барона Фридерикса. Ялтинский краевед Е. Ворошцов вспоминал, что он в качестве учащегося гимназии принимал участие в чествовании генерала и играл в духовом оркестре. Слещов ходил в белом костюме и белой фуражке с особой кокардой.

Известно, что Слещов вернулся из эмиграции в СССР. Как же состоялся его альянс с ВЧК? в 1921 году в крымскую ЧК поступили сведения, что Слещов желает вернуться на Родину и

отдать себя в руки правительства. Посланное им письмо перехватили и срочно послали Ф. Э. Дзержинскому, который тотчас почувствовал политическое значение возможного возвращения Слашова — непримиримого врага советской власти. В Крым прибыл особоуполномоченный из Харькова. Слашов жил в Константинополе с женой и ребенком. Генералу передали, что в Советской России ему предоставят преподавательскую работу. Условия Слашова: личная неприкосновенность, семью отправить в Италию к родне, обеспечив валютой или ценностями. Дзержинский: никакой гарантии о неприкосновенности, никакой валюты... В конце концов Слашов пришел к выводу, что по пути в Россию его может узнать кто-то из тех, у кого он расстрелял родных... Тут уж никакие гарантии не помогут. Осенью 1921 года генерал прибыл в Севастополь. Слашова перевезли на железнодорожную станцию, где в своем вагоне его ждал Дзержинский, прервавший отпуск. Председатель ВЧК доставил Слашова в Москву, где он выступил по радио с обращением к эмигрантам, в котором предлагал им возвращаться. Писал и письма за границу. Возвращение Слашова, как вспоминает чекист Фомин, «окончательно развеяло миф о репрессиях, чинимых большевиками над возвратившимися белыми... которых всех, вплоть до рядовых, преследуют, арестовывают и даже расстреливают». Слашов преподавал в Высшей тактической стрелковой школе РККА.

Фомин умалчивает о действительных репрессиях! В очерке «Нетерпимость к ложным доносам» он вскользь упоминает: в Крыму осталось более 30 тысяч бывших врангелевцев и других контрреволюционных элементов, и большевики решали, кому дать гражданские права, кого выслать, кого покарать. На самом деле почти всех коварно расстреляли или утопили... Не случайно Чарнота в булгаковской пьесе совершенно определенно говорит о перспективе большевистского суда. Вероломство новой власти стало причиной душевной травмы Волошина, который помогал и белым и красным. Подлинную трагедию пережил писатель И. С. Шмелев, обосновавшийся в Алуште. По просьбе властей он написал письмо к тем, кто скрывался в горах, обещая от имени большевиков гуманное отношение. Среди сдавшихся был его сын. И все они были расстреляны...

Слашов, вернувшийся на родину и прощенный большевиками, прожил недолго. Генерал П. И. Батов вспоминал, что он слушал лекции Слашова по военной тактике. Преподавал он блестяще, и напряжение в переполненной аудитории порой было, как в бою. «Многие командиры-слушатели сами сражались с врангелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал не жалел ни язвительности,

ни пасмешки, разбирая ту или иную операцию наших войск». 11 января 1929 года на квартиру к Слещову пришел неизвестный молодой человек и застрелил его. Им оказался некто Коленберг: он отомстил за брата, казненного Слещовым в Николаеве. Коленберга осудили.

В целом же надо подчеркнуть: возвращение Слещова подвигнуло людей вернуться из эмиграции. Многие поверили пропаганде большевиков и возвратились на родину, чтобы обрести «ситцевую рубашку, подвал, снег». Булгаковский же Хлудов остается в Константинополе и кончает жизнь самоубийством. Такова развязка пьесы в последней редакции.

«Эвакуация протекала в кошмарной обстановке беспорядка и паники,— пишет Слещов. — Врангель первый показал пример этому, переехал из своего дома в гостиницу „Киста“ у самой Графской пристани, чтобы иметь возможность быстро сесть на пароход, что он скоро и сделал». Такова же линия и главнокомандующего в «Беге». Сам Слещов выехал на ледоколе «Илья Муромец»... И вот проступают контуры чужого берега...

Рисуя заключительные сны «Бега», Булгаков во многом основывался на впечатлениях Любови Евгеньевны Белозерской, прошедшей и Константинополь, и Париж. Но обратимся к статье А. Васильева «Русский Константинополь», как бы дополняющей «Бег».

«На рейде Константинополя бросили якорь более 120 русских судов всех размеров и всех назначений: военные и пассажирские и даже баржи, прицепленные к другим. Все перегруженные, с креном, с русскими флагами. Более 130 тысяч человек покинули Родину.

Многие перешли на положение беженцев. Раненые и армия главнокомандующего барона Врангеля были отправлены на поселение на полуобитаемый турецкий остров Галлиполи.

На улице Пера стали молниеносно открываться русские рестораны, кабаре, кондитерские и аптеки. Появились русские доктора, адвокаты и «булгаковские» тараканы бега. Начали выходить русские газеты различного толка. Особенно грустные вести прибывали из Галлиполи, где находилась уцелевшая часть Добровольческой армии, страдающая от лишений и нужды. Этой армией командовали барон Врангель и генерал Кутепов... Русское кладбище Константинополя находится рядом с греческим. Там стоит изящно облицованная плитками часовенка, построенная в 1920 году. Надпись на фасаде гласит: «Души их во благих водворятся».

Души их во благих водворятся... Дневники Булгакова свидетельствуют о том, что «Бег» как реквием страдальцам был

задуман писателем давно, что под названием пьесы подразумевается не только конкретное отступление частей русской армии, но прежде всего страшное испытание для людей, втянутых в этот водоворот.

Бег — его личное восприятие событий. В дневнике есть строки, впервые раскрывающие образ мыслей и действий Булгакова как военного врача в период гражданской войны, когда он находился в рядах Добровольческой армии. В силу обстоятельств Михаил Афанасьевич продолжительное время умалчивал об этом этапе своей жизни, хотя в анкете, датированной октябрём 1936 года, на вопрос об участии в белой и других контрреволюционных армиях ответил безбоязненно и прямо: в 1919 году, проживая в г. Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача всеми властями, занимавшими город».

...Прошло несколько лет со времени этих мобилизаций. В ночь на 24 декабря 1924 года Михаил Афанасьевич пишет в дневнике: «...Я до сих пор не могу совладать с собой, когда мне нужно говорить, и сдерживать болезненные арлекинские жесты... Вспомнил вагон в январе 20-го года и даму, которая жалела меня за то, что я так странно дергаюсь. Я видел двойное видение одновременно — вагон, в котором я схал не туда, и одновременно же картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот...

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода на Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так:

— Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня уже контузили через полчаса после него».

Это были трагические месяцы для воинских частей, вместе с которыми волею судьбы отступал и Булгаков. Дополним характеристику обстановки в стане белых словами А. И. Деникина из «Очерков русской смуты».

«Кончился 1919 год... Подвиг, самоотвержение, кровь павших и живых — эти светлые стороны вооруженной борьбы поблекнут отныне под мертвенной печатью неудачи. Трехмесячное отступление, крайняя усталость, развал тыла, картина хаотических эвакуаций произвели ошеломляющее впечатление на общественность, отозвались болезненно на состоянии духа ее и армии. В тылу бушевали повстанчество и бандитизм. В начале марта начался отход с Северного Кавказа. Войска и беженцы (войск — около 7 тысяч, беженцев — 3—5 тысяч) потянулись во Владикавказ, откуда в десятых числах марта по Военно-Грузинской дороге перешли в Грузию. Рухнуло государственное образование юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились

от Каспия до Черного моря, увлекая людские волны». Можно добавить, что в эти месяцы произошел исход из Новороссийска, о чем в «Беге» упоминает Булгаков. Катастрофа Новороссийска непосредственно нависла над Севастополем и Ялтой, снова предвещая исход. «Шелест: ...аминь, аминь... Повторение Новороссийска. Хватило бы судов... Мгновенно сворачиваются карты, начинают исчезать телефоны».

Если отбросить патетику Деникина, перед нами хроника гигантской катастрофы. Сполна испытать ее тяготы выпало и Булгакову. Представим пострадавшего, раненного в живот прямо в горах, и доктора рядом с ним. Но в этих условиях, под огнем, в гуще боевых, зачастую рукопашных схваток, он, молодой врач, свято выполнял профессиональный долг, до последнего мгновения оставаясь возле умирающего. Здесь уместны слова Н. А. Бердяева о том, что «русский гуманизм был христианским, он был основан на человеколюбии, милосердии и жалости». Эта жалость пронизывает и пьесу «Бег».

Знаменательно, что рядом со строками, обращенными к нам, — «чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло» — Булгаков в своем дневнике полностью приводит строфу В. А. Жуковского из стихотворения «Певец во стане русских воинов», избранную затем эпитафией к пьесе «Бег»:

Бессмертье — тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег,
Вы, страшики терпенья...

Строка «Вы, странники терпенья...» в эпитафии к «Бегу» отсутствует — возможно, по тактическим соображениям. Но Булгаков-врач в годину столкновений и бедствий миллионов был именно таким странником. И, может быть, в ту декабрьскую ночь, накануне сочельника, перед ним пронеслись картины его будущей драмы. Так, пусть отстраненно, отозвался в творчестве писателя поход на Шали-Аул, его ненависть к войне. Не случайно в письме Е. С. Булгаковой в 1960 году брат писателя Николай Афанасьевич Булгаков писал: «Вы глубоко правы: клевету и наветы на Мих.А. Булгакова нужно всюду энергично опровергать. Он, т. е. Михаил, был истинно русский интеллигент, человек по своей сути мягкий и чуткий, но никак не милитарист... Наверное, никогда и никого не ранил и не убил». В Голубкове, по мнению В. Гудковой, есть и автобиографические черты писателя.

Эпитафия к третьему сну в первоначальном варианте пьесы «...Игла освещает путь Голубкова» заменен затем в одной из редакций более абстрактными словами: «...Игла светит во мгле».

Ведь Михаилу Афанасьевичу был уготован путь Голубкова, и лишь стечение обстоятельств не привело его на какой-то корабль.

Создавая образ Хлудова, Булгаков мог обратиться и к книге А. Ветлугина «Герои и воображаемые портреты» (Берлин, 1922). По свидетельству Т. Н. Лаппа, эта книга входила в круг чтения писателя. Глава «Кладбище мечты» посвящена Слащову.

«Безумным усилием, опьяненный ненавистью, кокаином, хронической бессонницей, бодрствуя целыми неделями, он сумел продержаться вопреки стратегическому замыслу... Остается последний резерв — 1000 юнкеров. С винтовкой в судорожно сведенных руках, с безумным взором остекленевших глаз поведет он эту кучку... Дрожат интенданты, еле дышит тыл... Последний раз в роли диктатора мелькает его издерганное лицо с остекленевшими глазами на генеральском совете... Снова летит жуткий поезд, приводя в оцепенение начальников станций, вызывая воспоминания о прошлом и страх перед будущим. А Слащов, сидя над картой и чертя схемы, твердит в сомнамбулическом забытьи: «кокаин, водка, нитроглицерин, черт, дьявол, только не спать, только не спать...» М. О. Чудакова отмечает, что, возможно, это полубеллетристическое описание Слащова подсказало Булгакову не только детали портрета Хлудова, но и послужило камертоном в работе над пьесой («бел, как кость, морщится, дергается»).

«Чтобы знали, знали», — завещал Булгаков. Стоят обелиски погибшим красным бойцам 6-й армии, Второй конной армии, 51-й, 52-й дивизий — на Литовском полуострове, на Турецком валу, в Карповой балке, в Юшунь. Но кто помнит о дроздовцах, о белых конниках, о кубанской бригаде? Их могилы поросли чертополохом... Между тем М. В. Фрунзе в статье «Памяти Перекопа и Чонгара» (1921) высоко отзывается о боевых качествах противостоящей стороны. «11 ноября мы врываемся в Крым. 13-го садятся на суда последние остатки белой армии во главе с Врангелем... Во всех позициях полугодичной борьбы Врангель как командующий в большинстве случаев проявил и выдающуюся энергию и понимание обстановки, — пишет Фрунзе. — Что касается подчиненных ему войск, то и о них приходится дать безусловно положительный отзыв. Особенно замечательным приходится признать отход основного ядра в Крым. Окруженные нами со всех сторон, отрезанные от перешейков, врангелевцы все-таки не потеряли присутствия духа и хотя бы с колоссальными жертвами пробились на полуостров».

Сколько уничтожающих карикатур было посвящено «врангелиаде»... Однако Булгаков — в обстановке рапповской травли — решился на другие тона изображения этого отступления, воспринятые тем не менее как «полуоправдание» белых...

«Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»— писал Булгаков. «Бег», отвечающий этим словам, можно рассматривать и как обращение к Сталину о диалоге, о котором писатель все время неотступно думал. Нельзя не обратить внимание на то, что библейским обрамлением пьесы и, в частности, эпиграфом «... И множество разноплеменных людей вышло с ними», напоминающим о тех, кому была дарована милость господя, Булгаков в одной из редакций пьесы, в сущности, трактует события в Крыму и победу красных как промысел божий. Провидец и гуманист, «мистический писатель», верящий в предопределение, он взывает о милости к «странникам терния», обращается к чувству прощения как нравственному катехизису общества. Сталин, воспитанник духовной семинарии, не мог пройти ни мимо библейского фона пьесы, ни мимо проекции человеческих судеб в послеоктябрьском мире. В конце концов, Сталин имел лишь косвенное отношение к трагическим событиям в Крыму, и перед ним как бы открывалась возможность выступить мудрым, гуманным властителем, придерживающимся широких взглядов и отрицающим кровь как средство достижения целей. Таков код послания Булгакова.

В 1936 году Булгаков возвращается к крымской теме в связи с предложением Большого театра написать либретто на сюжет из гражданской войны. В рабочей тетради Михаила Афанасьевича (он использовал обычные общие тетради) появилась запись: «„Черное море“. Либретто оперы. Начато 16.X.1936 г.» Через месяц Булгаков представил первую редакцию на обсуждение руководства театра и композитора С. Потоцкого. Несмотря на одобрение, драматург продолжил работу по совершенствованию текста. По ряду причин, однако, работа осталась незаконченной.

Воскальзовало мнение, что «Черное море», по сути, и есть те несколько «снов» к «Бегу» (49, с. 227), на которых настаивал Сталин. Действительно, вторая картина первого акта целиком посвящена изображению командарма Михайлова, руководителя штурма Крыма, прототипом которого был Михаил Фрунзе (от его имени образована фамилия героя). Однако в остальных шести картинах отражена тема, наиболее волновавшая драматурга еще в пьесе «Бег»: судьбы интеллигенции, втянутой в губительный водоворот гражданской усобицы. Опера должна была начинаться картиной ареста певицы Ольги Андреевны Болотовой, случайно оказавшей

помощь подпольщику Маричу. Певицу забирают в контрразведку, пытаются; она заболевает тифом. Художник Болотов, се муж, отчаявшись найти справедливость, переодевается в военную форму и проникает в логово палачей. Он стреляет в начальника охраны полковника Маслова и с помощью Марича увозит больную жену в горы, к зеленым. Здесь герои и встречаются приход красных освободителей.

В либретто «Черное море» ощущается творческий опыт пьесы «Бег»: в острой гротесковой манере показаны фигуры белого главкома и генерала Агафьева, полевых офицеров и контрразведчиков. Характерна сцена в ресторане «Гоморра» (картина третья): описание паники, охватившей буржуазную публику при известии о падении Перекопа.

«Черное море» оказалось произведением, где творческая фантазия Булгакова опиралась в основном на крымский документальный материал. В конце колленкоровой тетради с силуэтами кранов на обложке, где уместился и текст либретто, и черновые записи Булгакова, имеется список использованной литературы из 19 названий. Под номерами 3 и 4 числятся крымские издания: сборник «Революция в Крыму», № 2 за 1924 год и книга М. Ф. Бунсина «Революция и гражданская война в Крыму (1917—1920)», изданная в 1927-м в Симферополе.

Фамилии персонажей и некоторые сюжетные ходы перекликаются с материалами этих изданий. В статье Ясинского «Из истории Ялтинского подполья» рассказывается о провале подполья в мае 1920-го. Для освобождения членов комитета боевики собирались переодеться в белогвардейскую форму и с фиктивными документами проникнуть в охранку. Акция не удалась, им пришлось скраться в горах, в отряде так называемых зеленых. Одним из руководителей группы был Максим Любич — его фамилия у Булгакова трансформировалась в «Марич». В июле группа Любича была арестована в Симферополе. 28 августа их расстреляли близ Ялты. Удалось спастись лишь большевику Болотову — он бежал из контрразведки. Как видно, эта фамилия использована Булгаковым без изменений.

Очень интересно звучание темы зеленых — партизанских отрядов, скрывавшихся в горных лесах. В пьесе «Бег» она проскользнула мельком, здесь же неожиданно выпла на передний план. В 20-х годах, судя по крымским изданиям, она была предметом оживленной дискуссии. В сборнике «Революция в Крыму», оспаривая и опровергая друг друга, два руководителя зеленого движения излагали собственные версии. Из них можно понять, что на протяжении всей гражданской войны в лесах скрывались группы «вечнозеленых» — дезертиров, не желавших служить ни белым, ни красным. Были и просто бандиты.

Большевики примкнули к партизанам только после разгрома их организаций в городах весной 1920 года.

Булгаков внимательно исследовал статьи сборника и книгу Бунегина, делал выписки; чтобы воспроизвести колорит Крыма, записал ряд татарских имен — Абдурахман, Хасан, Сайдамет, традиционное татарское приветствие путникам, прибывшим в горы, и др. Все это он записывал столбиком в правой половине страницы, а слева шла фактография, касающаяся белогвардейцев: форма и цвет погон, кокард, шевронов. Булгакова интересовала специфика революционного стиля и фразеологии. Из статьи Ан. Герасимова «Расстрел десяти» он переписал первую строку стихотворения:

Тесно смыкайтесь в пезыблемый строй,
Гроб проводивши к могиле:
Умер не тот, кто погиб, кто герой,
Умерли те, кто сражили.

Эта фраза звучит в исполнении хора (конец второй картины) в новой редакции текста либретто (работа М. А. Булгакова с источниками исследована Г. А. Шалюгиным по рукописному тексту либретто — РО РНБ, ф. 562, к. 16, ед. хр. 1).

Несомненно, что даже в незавершенном, фрагментарном тексте чувствуется настоящий мастер. «Черное море» свидетельствует, что крымская тема сопровождала Булгакова и в самые тяжелые моменты жизни... В свое время Пастернак дал гениальное определение человека: «Человек — действующее лицо... Он обитатель времени». Лишенный возможности действовать, Булгаков невольно стал обитателем времен, трагизм которых созвучен трагизму бытия Мастера.

Глава 5. ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕНИЯ

«Смирись, отдай талант, напиши пьесу об индустриализации или перековке, и будущее откроется...» Наверное, сигналы сверху, посылаемые Булгакову в последнее десятилетие жизни, можно трактовать именно так. Но, словно вестового Крапилина в «Беге», его заносит в гибельные выси. Кто еще в Москве тех времен посмел нарисовать картину общества, где предпочтение отдается доносчикам Алоизиям, попытка знакомства воспринимается как желание арестовать, на лестницах дежурят вооруженные «водопроводчики», а после опечатывания квартир сразу же меняется отношение к их увезенным на машинах несчастным владельцам...

В такой «нехорошей квартире», в освободившихся по мановению карательных органов комнатах живет и директор «Варьете» Степан Богданович Лиходеев — влиятельный человек, но ничтожный забубенный пьяница. И вот в седьмой главе «Мастера и Маргариты» с ним, пребывающим в состоянии тяжкого похмелья, здороваются незнакомый визитер, профессор черной магии Воланд. Оказывается, вчера Степа подписал с Воландом контракт на семь выслеплений...

Булгаков описывает Степу с определенной симпатией, хотя, в общем-то, свита Воланда поступает с Лиходеевым примерно так же, как недавно власть предержащие поступили с его предшественниками по квартире Беломутами. «...он такой же директор, как я архиерей», — гнусавит рыжий помощник Воланда Азazelло. Кот Бегемот, вздыбив шерсть, рывкнул „Брысь!“ — «спальня завертелась вокруг Степы... он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: „Я умираю...“

Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело.

Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море и что, даже больше того, — волна покачивается у самых его ног, что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах.

Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.

На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать. Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:

— Умоляю, скажите, какой это город?

— Однако! — сказал бездушный курильщик.

— Я не пьян, — хрипло ответил Степа, — со мной что-то случилось... я болел... Где я? Какой это город?

— Ну, Ялта...

Степа дико вздохнул, повалился на бок, голову стукнулся о нагретый камень мола...»

Итак, «белый город на горах»... Вспоминаются строки из далекого булгаковского очерка: «В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух». Это та же благословенная котловина, те же естественные ярусы... И все же время неотвратно пролетело. В Ялту писатель перенес Степу уже почти неизлечимо больным, в последней редакции романа. Последний раз он обратился к крымской странице в январе 1940-го... Этот вариант полета Лиходеева содержался в отдельной тетради правок и дополнений к «Мастеру и Маргарите». На тетради есть пометка Елены Сергеевны Булгаковой: «Писано мною под диктовку М. А. во время его болезни 1939 года. Окончательный текст. Начато 4 октября 1939 года. Елена Булгакова».

Полет в Ялту... Возможно, свою роль в возникновении этого эпизода сыграли воспоминания о гидроплане, курсировавшем в приморский город в конце 20-х годов, о чем уже упоминали. Ранее умонотрачительный маршрут Лиходеева был совсем иным. В машинописной редакции романа 1938 года, указывает Л. М. Яновская, Степан был десантирован во Владикавказ: «Открыв глаза, он увидел себя стоящим в тенистой аллее под липами и первое, что ощутил, — сладостное дуновение в лицо от реки. Эта река, запитая в гранит, бешеная река, не текла, а прыгала через большие камни, разбрасывая белую пену. На противоположном берегу виднелась нестро и голубовато разрисованная мечеть, а когда Степа поднял голову, увидел в блеске солнечного дня вдали за городом большую гору с плоско срезанной вершиной».

Пошатываясь, Степа оглянулся. Приближался какой-то человек; подойдя, он с ироническим удивлением уставился на Степу. Это было естественно. Степа стоял перед ним без сапог, в одних носках, Степа выглядел сумасшедше.

— Умоляю, — выговорил Степа жалким голосом...»

На 103-й странице машинописи Булгаков зачеркнул слово «Владикавказ», написал «Ялта», а затем продиктовал новый текст. В дальнейшем отрывок правился им заново.

Владикавказ... Город, который так хорошо знал Булгаков... В самом первом варианте этого эпизода Гарася Педулев (ставший потом Лиходеевым) был выброшен из Москвы как раз под эту гору. Как пишет М. О. Чудакова, в первоначальном варианте романа Гарася встречает в городе карлика в черном пиджаке и пыльном цилиндре. Карлик с крохотным личиком отвечает на вопрос Педулева, что это Владикавказ. Летом 1928-го Булгаков побывал во Владикавказе, где начиналась его писательская карьера, видел представления театра лилипутов и внес тогда эти впечатления в роман. Причем Гарася уже бывал в этом городе, но все забыл, мозг его поражен...

Но почему в изданном «Мастере и Маргарите» директор варьете оказывается в Ялте? Все в произведениях писателя так или иначе сопряжено с интимным, личным опытом, личным предпочтением или неприятием, все — его портрет. Заключительная его правка, слово «Ялта», вписанное в текст романа рукою автора, несомненно говорит о том, что Крым занимал в булгаковском мироздании особое место. В машинописной редакции романа (1938) есть сон Маргариты о море, и, думается нам, в нем отражен Крым. Его содержание в своих комментариях к «Мастеру и Маргарите» приводит Л. М. Яновская: «Ей стал сниться юг, и был этот юг очень странен, и не бывает такого юга на свете нигде. Чудо заключалось в том, что юг этот находился под самой Москвой... Полтора часа езды, а во сне и еще меньше, это ли не счастье, ах, это ли не восторг?»

Второе, что поражало на этом юге, это то, что солнце не ходило по небу, а вечно стояло над головой в полдне, заливая светом море. Такое солнце не изливало жара, а давало ровное, всегда одинаковое тепло, и так же, как солнце, была теплая морская вода.

Да, как ни были прекрасны земные моря, а сонные гораздо их лучше. Вода в них синего цвета, они глубиною в три метра, дно золотого песку, песчинка к песчинке. В сонном море плыть легко. В нем можно плыть в лодке без весел и паруса с невероятной быстротой».

Прекрасные земные моря, перешедшие в море во сне... Ни по такой ли глади несея Булгаков в лодке без весел и паруса в

мас 1927-го? Мы вправе предположить, что этот поэтический отрывок, не вошедший в окончательную суровую ткань безнадежного сна Маргариты с унылым адским кладбищенским пейзажем, навеян нежной любовью Михаила Афанасьевича к золотому солнечному Крыму.

Очевидно, вспоминая Крым и думая, что эти степи и дороги, причалы и поселки являются свидетелями трагедии и исхода былой России, Булгаков обращался и к личным жизненным коллизиям, к своим ошибкам и несвершенным поступкам. Представляется, что вместе с Лиходеевым в сверхскоростном самолете, и сейчас еще не существующем, в Ялте, на аэродроме, который тут так и не появился,— приземлился мысленно и Михаил Афанасьевич. Он стремительно терял зрение, стены вокруг сжимались, и в воображении всплывал красивый белый город на горах — Ялта, ее набережная, где море аккомпанирует скрипкам... Какое-то пронзительное сочувствие возникает в нас, когда мы видим Мастера в темных очках, с героическим изможденным лицом, диктующего эти строки.

Сбылось и не сбылось... Совсем недавно, летом тридцать восьмого, он писал в Лебедянь: «Моя дорогая Лю! Вчера я отправил тебе открытку, где писал, что может быть, проедусь до Ялты и обратно. Так вот — это отменяется. Взвесив все, бросил эту мыслишку. Утомительно, и не хочется бросать ни на день роман».

1939-й год... «Миша задумал пьесу (Ричард Первый),— приводит М. О. Чудакова запись из дневника Е. С. Булгаковой. — Рассказывал удивительно интересно. Чисто «Булгаковская пьеса». Речь идет о неосуществленной идее, о сюжете, к которому Михаил Афанасьевич возвращался до последних дней.

В Рукописном отделе Национальной российской библиотеки среди материалов фонда М. А. Булгакова имеется автограф записи писателя о последней пьесе: «Задумывалась осенью 1939 г. Пером начата 6.I.1940 г.» На листе — приписка Михаила Афанасьевича: «Ничего не пишется, голова как котел... Болею, болею». В 60-х годах Е. С. Булгакова восстановила по памяти замысел писателя. Пьеса под условным названием «Ласточкино гнездо» рассказывает о судьбе молодого писателя, втянутого в игры «больших людей». Он становится человеком из окружения видного чекиста Ричарда Ричардовича, решившего бежать за границу. По записи биографа Булгакова П. С. Попова, сцена развязки происходит на Южном берегу, на площадке над морем. Ричард Ричардович после разговора с сообщником остается один — и, к его ужасу, перед ним возникает светящаяся точка. Это Сталин с неизменной трубкой... (РО РНБ, ф. 562, к. 14, сд. пр. 10, лл. 1—5).

«Ласточкино гнездо»... Ясно, что при этих словах мы вспоминаем ажурное стросние над морем, контуры которого так запомнились писателю. Добавим, что в Киеве на той же стороне Андреевского спуска, где находится дом Турбиных, до сих пор стоит здание, которое горожане называют замком Ричарда. В картинах этой пьесы присутствует испанский колорит, мавританские мотивы. Эти ассоциации у Булгакова могли вызвать воспоминания о Воронцовском дворце в Алушке, об арабской надписи над его парадным входом. Есть, однако, и несомненные литературные источники «Ласточкиного гнезда», и на них нельзя не остановиться.

В кратком изложении главных звеньев пьесы — «Ласточкино гнездо, шкаф... Альгамбра... Гренада, гибель Гренады...» — все загадочно. Что такое шкаф? То ли нечто чеховское, то ли волшебный ящик из «Театрального романа» (в записи, сделанной П. С. Поповым уже после смерти Мастера, загадочный шкаф отнесен к сцене в кабинете «всесильного человека» в НКВД: за книжными полками скрывалась потайная дверь. — РО РНБ, ф. 562, к. 14, сл. хр. 10, лл. 3—5). Определенные догадки можно сделать, опираясь на историческое содержание упомянутых реалий.

Альгамбра (от арабского «альхамра») — это крепость-дворец в окрестностях города Гренада. Дворец считается образцом мавританского искусства с его живописностью, декоративностью стиля. Помещения дворца группируются вокруг двух внутренних двориков: дворика с бассейном и дворика львов с фонтаном, окруженным фигурами львов. Есть тут Зал послов, Зал сестер, Зал суда, где на потолках помещены росписи со сценами охоты, рыцарских турниров.

Испанская Гранада (Гренада), как сообщает БСЭ, в 1238 году стала столицей могучего Гранадского халифата, в XIII—XIV веках самого богатого государства Испании. Здесь мирно уживались и арабы, и испанцы, и евреи. Гранада была центром ремесел и культуры, где находилось 50 учебных заведений и 70 библиотек (!). Но в XV веке начались религиозные и национальные распри между арабами и евреями, с одной стороны, и католиками-испанцами — с другой, что привело страну к катастрофе.

Альгамбра в связи с Алукинским дворцом упоминается почти во всех дореволюционных путеводителях по Крыму (А. Безчицкого, 1908; Ю. Бумбера, 1914; и что для нас особенно важно, — в путеводителе И. М. Саркизова-Серазини, 1925).

С нею связывают как мраморную нишу южного портала, так и весь южный фасад дворца, включая и прилегающие к нему

террасы парка. Подобная расширенная трактовка с приложением плана Альгамбры приводится в альбоме «Алупка. Дворец и парк» (Киев, 1992)

Наиболее полно история Альгамбры изложена в новом энциклопедическом словаре Брокгауза—Ефрона (Т. 2, с. 198). Полученные нами из Испании фотографии позволяют убедиться в справедливости мнения, что архитектор Алупкинского дворца Э. Блор использовал мотивы Альгамбры в своих проектах.

Красота Альгамбры связывается с богатством декоративного искусства, с цветными узорами резных арабесок, стрельчатыми окнами, подковообразными арками, тонкими, порой спаренными колонками, бело-голубыми красками, изящной вязью арабских надписей, чаще всего из Корана — «Бог мой единый победитель». Все это мы видим и в Алупке. Красота и самобытность Алупкинского дворца заключаются не в строгом ритме архитектурного ансамбля, а в эклектике стилей, неожиданных сочетаний Востока и Запада. Даже такая деталь, как красный ковер с изображением шаха Фахт-Али на стене парадного вестибюля в Алупке, напоминает Альгамбру. Алупку с древней Альгамброй сближает и некогда прекрасный парк с фонтанами, бассейнами, ныне, к сожалению, безводными.

Что же могло привлечь Булгакова в истории расцвета и падения Гранады? Гибель культурной, богатой страны из-за распрей... Исход мавров — создателей тонкой, высокой культуры. Инквизиция, преследующая даже «перекрасившихся» мавров: белые уничтожают черных, хотя черные приняли веру белых католиков... Не напоминало ли это ситуацию, сложившуюся в России в годы гражданской усобицы и после победы большевиков, — исход наиболее грамотной, культурной части народа? Часть «мавров» приняла новую веру («коммунистическое евангелие»), но и их инквизиция (НКВД) — последовательно вырубает с корнем... Возможно, что это так, но... Уже никто и никогда не сможет сказать наверняка, что виделось в пронизанном болью сознании великого Мастера, уходящего в небытие...

Можно предположить, что Альгамбра Алупкинского дворца, напоминающего крепость, дремлющие на террасе львы, арабская вязь помогли Булгакову перенестись воображением в далекую Гранаду, чей взлет и падение оказались столь созвучны современной истории России... Трудно сказать, почему в замысел влилось имя легендарного английского короля Ричарда I, прозванного Ричардом Львиное Сердце. Этот необузданный вояка, участник крестовых походов, пленник императора Священной Римской империи, жил в XII веке задолго до строи-

тельства Альгамбры. Мушкетеры же вовсе переносят нас в эпоху блистательных французских Людовиков... Очевидно, замысел пьесы предполагал свободу перехода из одной эпохи в иную, из одной страны — в другую, в том числе и в Крым, в романтический замок Ласточкино гнездо...

И еще одна перспективная линия — первоисточники испанского сюжета, которые были доступны Михаилу Афанасьевичу. Работая над пьесой «Дон Кихот», где Булгаков призывал любой суд становиться на сторону слабого, он читал необходимые материалы и на испанском. Кроме того, в процессе знакомства с пушкинскими материалами для пьесы «Последние дни» Булгаков не смог не прочесть статью Анны Андреевны Ахматовой «Последняя сказка Пушкина». Суть находки Ахматовой — неизвестный источник сказки «Золотой петушок», неожиданно открытый в испанских сказках Вашингтона Ирвинга. Пушкин обработал одну из сказок Ирвинга, входящих в цикл так называемых «Сказок Альгамбры», а именно «Легенду об арабском астрологе» (во времена Пушкина она была переведена под названием «Арабский звездочет»). Перу Ирвинга принадлежала также «История завоевания Гренады» — описание гибели богатой мавританской цивилизации на территории Испании.

Ирвинг, Пушкин, Ахматова... Так Булгаков, возможно, обратился к «Сказкам Альгамбры».

Сюжеты сказок таковы, что тут можно почерпнуть десятки самых занимательных замыслов, начиная от сюжета о «трех сестрах» — прекрасных дочерях гранадского халифа, скрытых от нескромных взоров в замке на крутой скале, под которой плескалось море, и кончая легендой о паломнике любви и прекрасной «розе Альгамбры». Тут и рыцарские турниры, и заколдованные сокровища, — так что остается только гадать, что конкретно привлекло Булгакова. Несомненно одно — что отзвуки этих сказок есть в романе «Мастер и Маргарита».

Напомним суть дела. Воланд разыгрывают с котом Бегемотом (заметим, что прозвище Бегемот встречается в «Дьяволяде» Вашингтона Ирвинга — под этой кличкой выведен старый пират, связанный с нечистой силой) шахматную партию, совмещая это занятие с разглядыванием необыкновенного глобуса, на котором шевелились синие океаны. «На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой магии топтался на клетке, отчаянно вздымая руки. Три белых пенки-ландкнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись

черные всадники Воюанда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Маргариту чрезвычайно заинтересовало то, что шахматные фигурки были живые. Кот... тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками... Белый король наконец догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля».

Теперь процитируем отрывок из «Легенды об арабском астрологе» в современном переводе А. Бобовича. «Султан Абер Абус подошел к столу, на котором, словно на шахматной доске, были расставлены крошечные фигуры, резанные из дерева. Вдруг, к своему великому изумлению, он обнаружил, что они двигаются, будто живые. Гарцевали и выделывали курбеты кони, воины размахивали мечами и копытами, слышались глухие и слабые звуки барабанов и тру...»

Астролог сообщает: эти живые фигурки — свидетельство того, что враги уже идут на Гренаду. «Если желаете посетить среди них панику и смятение, заставить их отступить без пролития крови, прикоснитесь к фигурам тупым концом магического копья; но если тебе по сердцу кровавая распря и побоище между ними, коснитесь его острием». «Миролюбивейший из государей» рьяно взялся за дело и едва не истребил всех неприятелей.

Явное сходство «живых шахмат» Воюанда с фигурками арабского астролога создаст поразительное сопряжение ирвинговской легенды с острой злободневной темой — событиями в Испании. Воюанд показывает Маргарите глобус: «...видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война».

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела «домик величинной с горошину», который разросся до размеров спичечной коробки. «Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела вверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули... Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка».

«Офицер брошенное королевское платье накинул на себя и занял место короля». Это поразительное булгаковское видение в духе Нострадамуса касается не только франкистского путча, но и грядущей второй мировой войны, которая также начнется с вероломства...

Последние творческие усилия... По-прежнему погруженный в «глубокий скептицизм», Булгаков не переставал думать об

исходе и выходе, о безжалостном двадцатом веке. Лодочка памяти и воображения скользила легко и свободно. «И смеялась Маргарита, оттого, что вышло по ее, что кончились ужасы»— это венские булгаковские слова, его мечта.

Мы пытаемся разглядеть пространство ушедшего времени. Вот Булгаков на кокетбельском пляже кувыркается с Дымом, вот идет по рассветной Ялте... Хочется долго стоять вместе с ним на пороге кабинета Чехова... Вместе с Михаилом Афанасьевичем мы подходим к Ливадии, бродим по Севастополю, склоняемся над военной картой Таврии... Булгаковская Киммерия — еще туманное, но столь необходимое нам зеркало потрясающей жизненной повести о страстях и страданиях писателя. Мы надеемся, что вслед за нами всмотритесь в него и вы и Крым, освещенный пронзительной мудростью булгаковской прозы, засияет новыми красками, и бессмертный Мастер приблизится к вам.

СЛОВО БЛАГОДАРНОСТИ

Волею судьбы мне было дано счастье лично общаться с некоторыми из тех моих старших современников, кто являл собою живое воплощение русской творческой интеллигенции: И. М. Саркизовым-Серазини, Н. Н. Грин, А. Г. и Н. А. Габричевскими, Г. Г. Нейгаузом, М. С. Волошиной, Т. В. Шмелевой. Это общение послужило толчком к началу моей историко-краеведческой работы и вдохновляло на новые поиски.

Особый стимул в стремлении сохранить память об этих людях отечественной культуры дали многолетние (начиная с 1942 года) теплые отношения моей супруги И. Шумской с семьей Северцовых-Габричевских, друживших с М. А. и М. С. Волошинами, Е. С. и М. А. Булгаковыми.

Успехом многолетних поисков «крымских следов» М. Булгакова я во многом обязан старожилам Крыма: Е. Воронцову (знавшему Я. Слэцова-Крымского и давшему мне возможность ознакомиться с недоступными в то время воспоминаниями генерала «Крым в 1920 году»), Ю. Хлебникову (помнившему обитателей «Нижнего Мисхора» времен княгини Долгоруковой), А. Ермолинскому (встречавшего князя Голицына, семейство Гринов, Спендиаровых в послереволюционной Феодосии).

Существенную помощь оказали мне краеведы, коллекционеры Г. Шмидт, Ю. Иванов, Ю. Коломийченко, сотрудники Музея А. Грина, Ялтинского объединенного историко-литературного музея, Феодосийской картинной галереи, а также профессор Московской консерватории Д. Башкиров.

Особое слово благодарности — хранительнице наследия славного семейства Северцовых-Габричевских Ольге Северцовой: она щедро, бескорыстно поделилась реликвиями семьи — редкими фотографиями, неопубликованными воспоминаниями, образцами художественного наследия А. и Н. Габричевских.

Без соединения усилий крымчан, киевлян, москвичей — книга не смогла бы увидеть свет, и это хороший пример плодотворного сотрудничества «поверх барьеров» современной нелегкой жизни.

В. Навроцкий

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Булгаков М. А. Собр. соч.— В 5 т.— М.: Худож. лит., 1989.
2. Булгаков М. А. Избр. соч.— В 2 т./Коммент. Л. Яновской.— Киев: Дніпро, 1989.
3. Булгаков М. А. Дьяволиада: Рассказы.— М.: Недра, 1926.
4. Булгаков М. А. Под пятой: Дневник// Театр.— 1990, № 2.
5. Булгаков М. А. Черное море// Записки Отдела рукописей ГТЛ.— М.: Книжная палата, 1988.— С. 228—241.
6. Булгаков М. А. Черное море: Либретто (рукопись)//Рукописный отдел Российск. гос. Библиотеки, ф. 562, к. 16, ед. хр. 7.
7. Булгаков М. А. Письма: Жизнеописание в документах.— М.: Современник, 1989.
- 7а. Булгаков М. Путешествие по Крыму.
8. Альтшуллер А. М. А.П. Чехов и М. А. Булгаков. (Сравнительная характеристики драматургической поэтики Чехова и “Дней Турбиных” Булгакова) // XXV Герценовские чтения. Музееведение.— Вып. 25.— Л., 1972.— С. 57—59.
9. Альбом М.П. Чеховой (Книга отзывов)//Мемор. фонд Дома-музея А.П. Чехова в Ялте, КП № 4328.
10. Ахматова А. А. Последняя сказка Пушкина// Соч.— В 2 т. Т. 2.— М.: Худож. лит., 1986.— С. 8—33.
11. Баранов Б. Крым: Путеводитель.— М., 1935.
12. Барсамов Н. С. Художники Феодосии.— Феодосия, 1928.
13. Белозерская-Булгакова Е. С. Воспоминания.— М.— Худож. лит., 1990.
14. М. Булгаков-драматург и художественная культура его времени: Сб. ст.— М.: СТД РСФСР, 1988.
15. Бунегин М. Ф. Революция и гражданская война в Крыму (1917—1920 гг.).— Симферополь: Крымгосиздат, 1927.
16. Бунин И. А. Собр. соч.— В 6 т. Т. 1.— М.: Худож. лит., 1987.
17. Варламова Л. М. Дом-музей А. Грина.— Симферополь, Таврия, 1986.
18. Вересаев В. В. Воспоминания.— М.: Правда, 1982.
19. Виленкин В. Воспоминания с комментариями.— М.: Искусство, 1982.
20. Виленский Ю. Г. Доктор Булгаков.— Киев: Здоровье, 1991.
21. Виленский Ю., Навроцкий В. Прелюдия к “Адаму и Еве” // Киевские новости.— 1992.— №4.
22. Волошин М. А. Стихотворения.— Л.: Сов. писатель, 1982.
23. Волошин М. А. Коктебельские берега: Поэзия, рисунки, акварели, статьи.—Симферополь: Таврия, 1990.
24. Волошин М. А. Путьники во Вселенной.— М.: Сов. Россия, 1990.
25. Воспоминания о Михaille Булгакове// Сост. Е.С. Булгакова и С.А. Ландрес.— М.: Сов. писатель, 1988.
26. Габричевская Н. Воспоминания//Неопубликованный личный архив О. Северцовой, Москва.
27. Габричевский Александр Георгиевич. К 100-летию рождения: Сб. материалов.— М.: Гос. Третьяковская галерея, 1992.
28. Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы. Имядж.— М., 1992.

29. Глэд Дж. Беседы в изгнании.— М.: Книжная палата, 1991.
30. Грин А. С. Блистающий мир.— Симферополь: Таврия, 1976.
- 30а. Гудкова В. От салона к самиздату//Дружба народов.— 1992.— № 9.
31. Гуль Р. Держинский//Москва.— 1991.— № 5.
- 31а. Гуль Р. Красные маршалы.— М.— Мол. гвардия, 1990.
32. Гуркович В.Н. Помянем павших, правых и неправых, и будем думать...// Университетская жизнь.— 1991.— № 34.
33. Давыдов З., Купченко В. Буду рад Вас видеть в Коктебеле// Радуга.— 1989.— № 4.
34. Датиук Н. Штурм Перекопа.— М.: Воениздат, 1939.
35. Дневник Елены Булгаковой.— М.: Книжная палата, 1990.
36. Дом-музей М.А. Володина: Путеводитель.— Симферополь: Таврия, 1990.
37. Елпатьевский С. Крымские очерки.— М.: Книгоизд-во писателей в Москве, 1913.
38. Ермолинский А. Воспоминания//Фонд. Музея А.С. Гриша.
39. Ирвинг В. Альгамбра: Новеллы.— М.: Худож. лит., 1990.
40. Кожевникова Н. А. О сквозных мотивах в пьесах М. Булгакова// Вопросы стилистики.— 1977.— Вып. 12.— С. 64—80.
41. Крым: Путеводитель//Под общ. ред. проф. И. М. Саркизова-Серажиши.— М.—Л.: ЗИФ, 1925.
42. Куприн А. И. Памяти Чехова//А.П. Чехов в воспоминаниях современников.— М.: Худож. лит., 1986.— С. 507—535.
43. Куприянов И. Т. Судьба поэта.— Киев, 1979.
44. Воспоминания о Максимилиане Волошине.— М.: Сов. писатель, 1990.
45. Лакшин В. Вторая встреча.— М.: Сов. писатель, 1984.
46. Лакшин В. Я. Мир Михаила Булгакова//Булгаков М.А. Собр. соч.— В 5 т. Т. 1.— М.: Худож. лит., 1989.— С. 5—68.
47. Легенды Крыма.— Симферополь: Таврия, 1965.
48. Новое о Маяковском. Лит. наследство. Т. 65.— М.: Изд-во АН СССР, 1959.
49. Лосев В. И. М. Булгаков. Либретто к опере “Черное море”// Записки Отдела рукописей ГБЛ.— М.: Книжная палата, 1988.— С. 224—227.
50. Маяковский В. “Хорошо!” Октябрьская поэма// Собр. соч.— В 6 т. Т. 5.
51. Навроцкий В. Новые адреса Михаила Булгакова//Таврические ведомости.— 1993.— 23 июля.— № 29(88)
52. Навроцкий В. Как нашлась дача Чичкина. Крымские адреса и встречи М. Булгакова. 1926 год//Крымская газета.— 1993.— 13 нояб.— № 211(344).
53. Навроцкий В. “Крымский след” Михаила Булгакова//Медицинская газета.— 1992.— 6 нояб.— № 8.
54. Навроцкий В. Курикулом вите профессора А. Северцова// Медицинская газета.— 1993.— 31 декаб.
55. Навроцкий В. “Обет молчания”//Медицинская газета.— 1993.— 16 апр.— № 46.
56. Немирович-Данченко В. И. Избранные письма.— В 2 т.— М.: Искусство, 1979.
57. Нинов А. Михаил Булгаков и театральное движение 20-х годов// М.А. Булгаков. Пьесы 20-х годов.— Л.: Искусство, 1990.

58. О л е ш а Ю. Избр. соч.— М.: Худож. лит., 1956.
59. П а р ш и н Л. Чертовщина в американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова.— М.: Книжная палата, 1991.
60. П а с т е р н а к Б. Л. Собр. соч.— В 5 т. Т. 4.— М.: Худож. лит., 1991.
61. П е т р о в с к и й М. Городу и миру. Киевские очерки.— Киев, 1990.
62. П е т р о в с к и й М. Смех под знаком Апокалипсиса//Театр.— 1991.— № 5.
63. Письма В. А. и Е. И. Тихомировых-Тезе к М. П. Чеховой (1920-е — 50-е гг.)//Рукописный отдел Российск. гос. Библиотеки, ф. 331, к. 20—24.
64. Революция в Крыму: Исторический сборник Истпарта Крыма.— Симферополь: Крымиздат, 1924.— № 2(4).
65. Революция и гражданская война в воспоминаниях белогвардейцев. Деникин, Юденич, Врангель.— М.: Отечество, 1991.
66. С е в е р ц о в а Л. Б. Алексей Николаевич Северцов. М.—Л., 1946.
67. С л а щ о в Я. Крым в 1920 году. Отрывки из воспоминаний.— М.: Гос. изд-во, 1923.
68. С м е л я н с к и й А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре.— М.: Искусство, 1989. С. 432.
69. Социалистическая реконструкция Южного берега Крыма. Материалы районного планирования ЮБК.— Симферополь: Гос. изд-во Крым. АССР, 1935.
70. Справочник абонентов и правительственных учреждений телефонной сети в Ялте, Алушке, Гузруфе, Кореизе 1916—1920 гг.— Ялта, изд. Витмера.
- 70а. С т а л и н И. В. Соч.— В 12 т. Т. 2.— М., 1949.
71. Ф о м и н Ф. Т. Записки старого чекиста.— М.: Политиздат, 1964.
72. Х а н и л о А. В. Письма из Ялты. (Из писем М. П. Чеховой к О. Л. Книппер) //Чеховские чтения в Ялте: Сб. материалов.— М., 1990.— С. 180-189.
73. Хозяйка Чеховского дома: Воспоминания, письма.— Симферополь: Крым, 1969.
74. Ш а л ю г и н Г. А. “Старший брат” (Мих. Булгаков в Чеховском доме)// Крымская газета.— 1994.— 29 янв.
75. Ш а л ю г и н Г. А. “Сказки Альгамбры” В. Ирвинга в творчестве А. Пушкина и М. Булгакова//Русская культура и Восток. Третьи Крымские Пушкинские чтения.— Симферополь, 1993.
76. Ш а л ю г и н Г. А. У Антона Павловича (Мих. Булгаков в Чеховском доме)// Третьера.— 1994.— № 1.
77. Ш а л ю г и н Г. А. Чеховское притяжение//Литературная Россия.— 1985.— № 5.
78. Ш а р ы г и н С. Михаил Булгаков и “карадагский змей”//Курортный Крым.— 1991.- 6 августа.
79. Ш в е р у б о в и ч В. О старом Художественном театре.— М.: Искусство, 1990.
80. Ш у л ь г и н В. В. 1920 год.— Л.: Прибой, 1927.
81. Ч е х о в А. П. Полн. собр. соч. и писем.— В 30 т.— М.: Наука, 1974—1983.
82. Ч е х о в а М. П. Из далекого прошлого.— М.: Гослитиздат, 1954.
83. Ч е х о в М. П. Вокруг Чехова. Чехова Е. М. Воспоминания.— М.: Худож. лит., 1981.
84. Ч е х о в М. П. Дуэль: Пьеса в 5 актах по повести А. П. Чехова “Дуэль”// РГАЛИ, ф. 2540, оп. 1, ед. хр. 436.

85. Чехов М. П. Заком. Словарь для сельских хозяев.— М., 1892.
86. Чехов М. П. Свирель: Повести, рассказы, очерки.— М.: Моск. рабочий, 1969.
87. Чехов С. М. Воспоминания М.П. Чеховой. Тетрадь первая. 1946—48 гг. Архив Дома-музея А. П. Чехова в Ялте.
88. Чехов в воспоминаниях современников.— М.: Худож. лит., 1954.
89. Чудаков А. Мир Чехова.— М.: Сов. писатель, 1986.
90. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова.— М.: Книга, 1988.
91. Южный берег Крыма: Курортный справочник.— М.: Изд-во наркомздрава РСФСР, 1927.
92. Яновская Л. М. Треугольник Воланда. К истории романа “Мастер и Маргарита”.— Киев: Либідь, 1992.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступ ление	5
<i>Глава 1. «В БУХТЕ — КУРОРТ КОКТЕБЕЛЬ»</i>	11
«На юг, на юг...»	11
«Но цензура режет его беспощадно»	21
«Все Вами написанное»	28
<i>Глава 2. У АНТОНА ПАВЛОВИЧА</i>	50
«Как странно здесь...»	50
«За обещанным Вами письмом...»	61
<i>Глава 3. «МОРЕ АККОМПАНИРУЕТ СКРИПКАМ»</i>	75
Все больше зелени кругом...	75
От берегов Сурожа	87
<i>Глава 4. «БЕГ» НА КАРТЕ ИСТОРИИ</i>	93
«Еще один или два сна...»	93
«Вы, странники теренья»...	114
<i>Глава 5. ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕНИЯ</i>	129
Список использованной литературы	139

Виленский Ю. Г., Навроцкий В. В., Шалогин Г. А.

МИХАИЛ БУЛГАКОВ И КРЫМ

Литературно-краеведческое издание

Редактор С. Н. Шаповалова
Технический редактор Н. Д. Крупская
Художественный редактор М. М. Лукьяница
Корректор Л. Г. Стахурская
Верстка А. С. Золотков

Подписано в печать с оригинал-макета . Формат 84-108 1/32. Гарнитура
«Таймс». Уч.-изд. л. Тираж 10 000.

Издательство «Таврия», 333000, г. Симферополь, ул. Горького, 5

